

Любовь

Медведева



КАРТОННЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ДОМ С ГОЛУБЫМИ СТАВНЯМИ

Случайные совпадения владеют судьбой, вокруг имен, названий, особых местечек закручивается интрига жизни. Тянемся к оригинальности и особости, а жизнь тяготеет к повторам. Как снегурка, моя жизнь лепилась по снежным комочкам вокруг улицы Бажова, вокруг имени Павла Бажова.

Хлопал дом потихонечку ставнями
под счастливое пенье весны.
На расхристанной улице Сталина
родилась я после войны.

Улица Сталина шла параллельно улице Бажова, мы жили недалеко от нынешнего Дома строителей. Наша улица довольно широкая, не мощеная, вела к местному магазину № 31, его так и называли, по номеру. В длинном одноэтажном здании барачного типа пахло халвой, лежалым товаром. Чаще всего ждала маму у дверей магазина, внутрь, в полутьму и тесноту, не очень хотелось. На улице я стояла под жестяным фонарем, смотрела на синее небо с ранними звездами, прислушиваясь к ритмичному скрипу и хлопанию тяжелых дверей. Потом выходила мама, брала меня за руку – и мы шли домой по широкой грязной улице.

Когда мне едва исполнилось три года, на всю жизнь запечатлелась ранняя весна на улице Сталина: я стою возле нашего дома, только-только стаял снег, кругом лужи, грязь непролазная, от реки зябкая потяга, солнышко припекает и остро пахнет согретая, но еще влажная от вчерашнего снега разноцветная галька под ногами. Беру ее в ладошки – и сердце екает от острого, тревожного чувства. С той поры я полюбила запах камней, самых обычных, ничем не примечательных, серо-голубых, розоватых, белых. Порой я набирала полные карманы камушков и несла их домой, и не только в детстве, а всю жизнь.

Я брожу до самой темноты.
Гравием усыпана дорога.
Собираю камни, как цветы,
влажные, прохладные немного.



Запах обещания, предчувствия, – чуть прохладный, горьковато-дымный, – до сих пор, не то что помнится, ощущается так же остро и подробно, как полвека назад. Дорога из этих камней привела меня в царство самоцветов, но это случилось много лет спустя...

Первые воспоминания связаны почему-то не с родным домом, а с соседней избушкой, приземистой, темной и тесной, в ней жила моя первая подружка Вера. Помню тепло печки, занимавшей почти всю комнатенку, кухонный стол, покрытый потертой клеенкой, старушку, согнутую, небольшого роста, сухонькую, а черты лица не вижу за дальностью лет. Подружка Вера, в коротком платье, едва различима, знаю только, что у нее темные косички и карие глаза. К подружке мы с мамой приходили в конце шестидесятых. Наш бывший дом с голубыми ставнями и высоким тополем в палисаднике царапнул по сердцу какой-то взрослой тоской, которая время от времени меня окликает.

Там двери отворялись без ключей –
от темноты и шороха. Из сада,
по плоскости склонившейся ограды,
карабкался разбойничать репей...

Тянулся влажный воздух от реки,
от сквозняка позвякивала рама,
и пахло холодом и елкой от щеки,
когда сквозь сон я целовала маму.

Там я жила... Но словно никогда
не открывала дверь из грубых досок.
И скрип петель – тревожный отголосок
из темноты, из детства, из ТОГДА...

УЛИЦА СКАЗОЧНИКА

У времени есть свой запах, цвет, вкус, звук, порой его неровные шершавые края можно потрогать кончиками пальцев. Время вполне ощутимо всеми органами чувств. Нам порой кажется, что мы владеем минутами, годами, тысячелетиями. Подобно струе песчинок в песочных часах, время утекает, увлекая за собой нас – беспомощных пловцов.

В детстве я и не думала о том, что есть такой трехглавый дракон – Время. Проснувшись вместе с солнышком, как резиновый мячик, подскакивала с кровати и, на бегу подхватив кусок хлеба, выпрыгивала на улицу.

Старшие сестра и брат жили в своем почти взрослом мире, где всё по-другому: свидания, учеба в институте, походы на пляж или в кино, их вечно не было дома, а мы с Борькой (он был на четыре года старше меня) с утра до ночи пластались во дворе, особенно летом.

Новый квартал только-только выстроили на месте бывшего городского кладбища, в войну на нем еще хоронили, а в 49-м, не дожидаясь положенных сроков после последнего захоронения, могилки смели бульдозером, и над костями предков пленные японцы возвели серый дом. Стены у него оказались не оштукату-

ренными и покрашенными, а серыми, шершавыми, поверхность кирпичей была украшена бетонными брызгами. От этого дома, сколько помню себя, исходило томительное чувство тревоги, может быть, потому, что строили его какие-то непонятные чужие люди, и вся их ненависть и неприкаянность наполнила серый дом по самую крышу. Пахло в подъездах странно: гнилью и тленом. В других домах нашего квартала витали веселые ароматы борщей и домашней выпечки, а 36-й дом казался тусклым, одиноким, заброшенным, хотя там жили обычные люди, которые, как всюду, варили супы и баловали детей домашней сдобой, но мне чудилось, что дом до самого чердака наполнен чем-то тусклым, полупрозрачным, тоскливым. В ту пору я не знала предысторию строительства нашего квартала, но чуяла детским сердцем смутную опасность, исходившую от этого дома.

Переехали мы на квартал «Б», когда мне еще и четырех лет не исполнилось, и поселились рядом по ул. Бажова, 38. С утра мы играли в пространстве между домами. Большинство детей в садики или ясли не ходили, взрослые выпускали нас во двор без всякого надзора, конечно, на лавочках возле дома сидели престарелые соседки, занятые своими разговорами, но никто не надзирал специально за нашим вольным выпасом.

Иногда сладковато-гленный запах растекался по всему кварталу: у каждого дома стояли большие деревянные ящики с мусором, окрашенные в черный цвет, и, особенно ранней весной, остро благоухали помоями. Это я сейчас объясняю, а в раннем детстве я потерянно замирала среди двора. Я не знала, что этот зыбкий и привязчивый запах времени я буду вспоминать всю жизнь.

Над кладбищем и прошлым веком –
нескладный дом.

Мне кажется, чуть слышным эхом
мы там живем.

Стоило дожждаться поры цветения – и всё менялось: побеждал аромат сада, его высадили широкой полосой вдоль всего квартала, от 36 до 44 дома. Поблизости ни на одном квартале такого богатства не было. Именно в саду мы чаще всего затевали свои игры. Сад огородили высоким забором, приставили к нему садовника, дядю Мишу, и он держал его в порядке: высаживал новые растения, поливал, охранял клумбы и деревья от сезонных налетов многочисленной малышни.

Не знаю, кто придумал разделить сад на части и назвать их кругами: мы жили напротив второго круга, а за ним шел самый большой, средний. В центре, на высоком постаменте, возвышалась гипсовая статуя, покрытая серебряной краской – женщина с крепкими плечами пловчихи, с книгой в руках, она, видимо, символизировала тягу к знаниям. У входа в большой круг располагались гипсовые громоздкие вазоны с рыжей настурцией и гипсовые толстоногие статуи резвящихся детей. Напротив нашего дома на округлом постаменте статуя изображала мальчика, присевшего на корточки, и девочку, льющую на него из большого кувшина, судя по всему, воду. На одной из фотографий детства я, немного косматая, в сарафане, надетом на ночную рубашку, и рядом верный рыжий Шарик дополняем на постаменте наивный сюжет конца пятидесятых...

Смерть и рождение – особые вехи времени, их можно воочию увидеть и в какой-то момент даже коснуться. В центре квартала то и дело строили сараи,

копали погребца и постоянно натыкались на захоронения. Мальчишки, желая показать свою отвагу, доставали из гробов черепа, надевали на палку и с лихими воплями бежали по кварталу, пугая малышню. Я не отличалась храбростью, но особого страха не испытывала, когда смотрела в пустые глазницы черепа, однако запах смерти смутно тревожил мое сердце, оно замирало, как на качелях.

Боль, жалость, негодование переполняли меня, когда на моих глазах убивали живое. Однажды соседский оболтус проткнул лыжной палкой мышку – слезы так и брызнули, я кинулась на мальчишку с кулаками, но он оказался сильнее и проворнее: вырвался и побежал по кварталу с мышкой на острие палки. Я долго и безутешно плакала.

Лет в шесть увидела первый раз покойника. На другой стороне квартала, по улице Новорабочей жила моя бабушка, я частенько бегала к ней ночевать. Однажды она взяла меня с собой к соседям, проведать покойницу. Женщина лежала в гробу, молодая, в зеленом креповом нарядном платье, в кремовых туфлях, и, казалось, спала. Конечно, я смотрела во все глаза и удивлялась: «Зачем эта бледная тетенька лежит в ящике и не двигается?». Бабушка велела мне подержаться за туфли покойницы,

– Чтобы не снилась, – объяснила она.

Но только я ощутила сквозь туфли ледяной холод мертвой плоти – мне стало по-настоящему страшно. В эту ночь мне ничего не снилось, потому что я вообще не спала: перед глазами стояла мертвая женщина, в воздухе витал сладковатый, тошнотворный запах. Утром я убежала домой и долго не показывалась у бабушки. Ни черепа, ни вид покойников не могли поколебать мою твердую уверенность, что в моем сказочном мире живут-поживают, добра наживают, разве что кого-нибудь проглотит змей Горыныч...

Сказки меня зачаровывали, в государстве волшебства было порой немножко жутковато, но постоянно случались чудеса, которым я безоговорочно верила, особенно когда сказки читал папа, – он обладал глубоким, бархатным, хорошо интонированным голосом. Я могла часами сидеть рядышком с ним на диване и слушать, как он читает русские народные сказки Афанасьева.

Книг в доме накопилось к тому времени два фанерных шкафа, но лет до девяти я ничего не читала, кроме сказок и стихов, их мы, благодаря маме, запомним множество: «Тараканище», «Федорино горе», «Бибигона»... Стихи запоминались раз и навсегда, и спустя десятки лет мы их повторяли наизусть подрастающим детям.

Пожалуй, больше других сказок я любила «Серебряное копытце» и «Хозяйку Медной горы»: там сверкали самоцветы и появлялись волшебные красавицы. Сказки переселяли в царство таинственное и загадочное. Я радовалась, что у меня не падает температура, когда болела ветрянкой: брат читал вслух «Таджикские сказки», если на градуснике было больше 38. Мы росли атеистами, хотя все четверо были крещеными (на всякий случай), но я молила высшие, неизвестные мне силы: «Пусть подольше держится температура!» Мне даже не хотелось выскочить на улицу и от души погарцевать около дома, а бегать любила больше всего на свете.

Мама разрешала надевать креповые платья, когда мы с подружкой играли в волшебниц. Однажды мы даже выскочили в сад и пробежали из конца в конец, раскинув руки. И как мы умудрились в своем «полете» не наступить на длинные

подолы, не порвать тончайшую ткань – до сих пор загадка. Ощущение полета, радости необычайной так и осталось в сердце, чтобы спустя почти полвека очнуться в одном из стихотворений:

Я в мамином воскресном платье
бегу сквозь день
к веселым яблоням в объятья,
в сквозную тень.

Наверно, нас вовремя изловили, но не наказали на этот раз, хотя мама воспитывала нас в строгости.

С шести лет у меня были свои обязанности: сбегать в угловой магазин за хлебом, вымыть посуду, а то и полы. Меня никогда не били, и даже не припомню, чтобы мама повышала на меня голос, но братьям и сестре доставалось как следует, и поэтому я боялась, до дрожи в животе, двух людей: маму и садовника дядю Мишу.

В ту пору дачные участки еще не раздавали на предприятиях, и все витамины мы добывали сами – только начинали завязываться яблоки, мы совершали набеги на сад и всё общипывали подчистую. В саду росли не только дички и ранетки, самые вкусные были на привитых деревьях. Быстро оголялись нижние ветки, и лишь где-то на макушке еще оставалась пара-тройка яблочек, мы пытались пригнуть макушку, но как раз эти ветки нагнуть нашими худыми, слабенькими ручонками не удавалось. Пришлось однажды лезть на яблоню. Вскарabalася довольно высоко, только потянулась за недозрелыми плодами, ветка подо мной хрустнула – и я вместе с ней тут же очутилась на земле, в царапинах и ушибах. Тут ко мне подскочила Маруся, соседская вредная девчонка, поджала без того узенькие губы и выпалила:

– Да-а, Любочка, а я всё маме твоей расскажу и дяде Мише, попомнишь!

Самое удивительное, что яблоки рвала Маруське и ее подружкам. Козой безответной меня бы никто не назвал, поднялась я с земли, отряхнула юбку:

– Дура ты, Пильпильтуса! – и, похрамывая, пошла домой.

За сломанную ветку меня не расстреляли, но недели две я побаивалась встречать на садовых дорожках дядю Мишу. Машка злилась, что от ее ябедничества толку не было, и решила меня отлупить. Пошли мы с Маруськой вдвоем за дом, стали играть в куклы, уронила я нечаянно Машину игрушечную чашку.

Что тут было! Маня подлетела ко мне на всех парах, схватила за грудки и давай мне в нос кулаками тыкать быстро-быстро. Глазенки сверкают, губы трясутся, ну и я не стою деревом, бью ее по бокам с размаху, а Машка еще и верещит:

– Я тебе покажу, как мои чашки кидать!

По привычке дралась молча, и толку от моих ударов оказалось, кажется, больше. Через пару минут Маруся заревела во весь голос и убежала домой жаловаться. Злость одолевала Маню редко, а я все плохое забывала моментально, и вскоре мы помирились.

Соседские ребяташки часто ходили в гости друг к другу. Маруськины родители хорошо зарабатывали, ребяташек баловали всякими вкусностями, и когда я прибежала поиграть к Мане домой, она угощала меня сказочно вкусным персиковым компотом в банках, до сих пор помню эти упругие золоти-

сто-кремовые плоды, которые так и таяли во рту. Потом, сытые и довольные, мы ловили за батареей рыжих тараканов, вернее, ловила я, а Маруся пищала. Полными горстями бросать тараканов в ведро было щекотно и весело: мы заливались от смеха.

Простые и дешевые игрушки могут оказаться самыми желанными и любимыми, просто потому, что их у тебя нет: детский патефон, который издавал металлические однообразные звуки, звонкая, гудящая юла, которую покупают годовалым карапузам, головастые утята из резины. Но самым желанным и волшебным казался обычный картонный калейдоскоп (никто, никогда мне его так и не купил). Я поворачивала калейдоскоп – и в солнечном сплетении у меня что-то екало: яркие разноцветные осколки стекла ритмично позвякивали, и один за другим возникали необыкновенные узоры. Проходили годы, но как только мне в руки попадал калейдоскоп, эта игра с радужными стекляшками, позвякивание и плавное перетекание одного орнамента в другой одним поворотом картонной трубки переносили меня в другое измерение, где цветы сияют, звенят, летают. Теперь таких игрушек нет и в помине, калейдоскоп купить негде, но иногда память, когда покрутишь трубку времени, скрипнув, звякнув, из отдельных ярких осколков-картинок складывает сияющий узор жизни.

ВЫШИВАЛЬЩИЦА

Пушкинская Татьяна ничем себя не утруждала, «узором шелковым она не оживляла полотна». Нас, девочек пятидесятых, рукоделию учили в школе и дома. Все квартиры, даже самые бедно обставленные, украшали вышитые диванные подушечки «думочки», скатерти, газетницы, коврики и вязаные крючком белоснежные накрахмаленные салфетки. Простой крашенный стол в нашей квартире мама покрывала скатертью, которую художественной гладью искусно вышила моя старшая сестра. Скатерть давно исчезла в круговороте лет, а я все вижу нежное переплетение стеблей васильков и пшеничных колосков.

В соседней квартире вместе с сыном подростком жила красивая женщина Клавдия Раскевич, пожалуй, лучшая на квартале вышивальщица. Ее вышитые салфетки, дорожки, скатерти были настолько хороши, что, казалось, их не руками сотворили, а надышали, вынули прямо из души. Маки, розы и ромашки, чудилось, издавали аромат недавно сорванных цветов, а птицы готовы были выпорхнуть вон из небольшой комнаты. Я заходила к Раскевичам всего-то два раза, но завораживающее чувство подлинной красоты и небывалого мастерства вдруг осветило одно из стихотворений начала двухтысячных.

Гуляющая женщина и вышивальщица
склонялась над милыми или над пальцами.
Дорожки, салфеточки или скатерки –
усллада судьбы ее терпкой и горькой.

И бабочек крылья из нитей шелковых
дышали как ветер, как светлое слово.
Уютная комната в злой коммуналке
была красотой, которую жалко...

От жизни унылой, от звонкого чувства
рождалось души прикладное искусство.
Легко завивались узоров виньетки,
и птицы свистали на вышитых ветках.

Цветы полыхали отвагою жизни
в льняной и прохладно-свободной отчизне.
Крестом открестилась, и гладью по полю
ушли отголоски обиды и боли.

У каждой из женщин квартала были свои излюбленные мотивы рукоделия, украшались вручную стены, мебель, окна и даже двери. Мама подружки Лены, тетя Ванда, вышила алые крупные маки на дверных серых льняных портьерах так же чудесно, как наша соседка Клавдия, и мне, когда я приходила к подружке, так и хотелось пальчиком коснуться нежных вышитых лепестков.

Вышивки вносили в наш скудный быт красоту, уют и очарование мудрой простоты. Шаткие фанерные этажерки, выпиленные лобзиком самодельные полочки, крашенные, кособокие столы, старые, еще дореволюционные, сундуки, грубо сколоченные скамьи, – всё становилось почти сказочным и волшебным под вышитым и вязаным покровом рукодельниц. Оттуда, из пятидесятых, коврик с тремя арапчатами в шальварах и чалмах. Коврик вышит самым обычным стебельчатым швом, но сколько наивного обаяния в этом сюжете! Подобный мотив можно было встретить почти в каждой квартире: рисунки вышивок переводились на кальку, с помощью копирки наносились на ткань, спустя десятилетия у нас дома скопилось множество таких рисунков, свернутые в большой рулон, они хранятся на антресолях.

Драгоценно особое чувство отрады и смысла, когда ты своими руками только что закончил фигурку из папье-маше или склеил бумажную цепь. Мы никогда не слонялись как неприкаянные, шили, вышивали, вырезали наряды для бумажных самодельных красавиц. Все девочки квартала кукол любили и понемногу, незаметно учились быть хозяйками, устроительницами домашнего уюта, да так, чтобы главная забота о детях и о семье не тяготила, а окрыляла.

Когда я училась в восьмом классе, с симпатией воспринимала Татьяну Ларину, она мне казалась загадочной, но со временем образ тускнел. Когда я задумывалась над хорошо заученными строками поэта, вдруг видела ее ленивицей, у которой руки не оттуда растут, и то, что Пушкин обожал свою героиню, не делало ее более обаятельной. Если и исходили от нее флюиды, то очень уж тусклые, вялые.

То, что «кукол даже в эти годы» пушкинская Татьяна «в руки не брала», не делает ее, на мой взгляд, замечательной и исключительной, а «страшные рассказы» да гуляние по саду с французскими романами – слишком малое занятие для яркой личности. Старуха в сказке Пушкина, при всей безумной гордыне, почти всю жизнь гнула спину, ее и пожалеть можно, и оставить в конце хотя бы целое корыто. Она зла и глупа, но и Татьяна Ларина не слишком блещет умом, а ласковой и доброй ее и вовсе трудно назвать, «она ласкаться не умела к отцу и к матери своей», поэтому «она в семье своей родной казалась девочкой чужой». Не ее не любили, а она никого не принимала в душу, не жалела, отворачивалась, дичилась, поэтому вполне достойна «разбитого корыта».

В сказках Пушкина, мне кажется, порой много больше жизненной мудрости и правды, нежели в некоторых романтических произведениях. С детства – у самого сердца «Руслан и Людмила». Синяя картонная обложка, на которой нарисован бородатый карлик, улетающий с Людмилой куда-то в ночь, в темень, и сейчас перед глазами. У этой книги был почти такой же трепетный аромат русской старины, как у трехтомника сказок Афанасьева, у «Конька-Горбунка» Ершова, в этих сказках – сила, идущая снизу, от самой земли, от бабушек и нянюшек, в них крупницы легендарной, но истинной, упрятанной в образах и символах, истории народной, неувядаемой.

ТРУМОЧКА

В детстве любая пуговка, шелковая тряпочка, осколок стекла легко превращались в «драгоценности». У мамы в специальной коробочке хранились красные полупрозрачные граненые пуговки, мои узкие глазки загорелись как угольки, когда увидела их впервые и, захлебываясь от восторга, прошептала: «Трумочки!..» С той поры я не расставалась с гранеными пуговками ни днем, ни ночью, укладываясь спать, крепко зажимала кулачок, в котором в каждой ямочке между пальчиками уютно прятались трумочки. Если во сне кулачок расслаблялся, пуговки раскатывались по полу, я, не успев еще как следует проснуться, редела, словно потеряла самое ценное, без чего жить-то дальше нельзя. Это детское чувство утраты до сих пор тихонько щиплет сердце. Давным-давно мое «горе» легко было превратить в радость: мама отыскивала трумочки под кроватью и высыпала их в мою горсточку. Домашние так и прозвали меня Трумочкой, а Борька дразнил: «Трумча-саранча – половина кирпича!» – показывал язык и сломя голову удирал во двор. Обиднее всего была почему-то «половина кирпича».

Еще меня называли Бензиной. Домашние игры чаще всего затевал Борька, он очень любил игру в ресторан. Когда мы оставались дома вдвоем, он доставал лимонную кислоту и делал шипучку – это у нас было шампанское – потом нарезал маленькие аккуратные кусочки серого хлеба (белого мы никогда не покупали), смешивал маргарин с сахаром и, свернув кулечек из тетрадного листа, выдавливал «крем» в виде розочек на эти «пирожные». Потом мы пировали.

Как-то после угощения я предложила:

– Давай играть в артистов: ты будешь Арлекином, а я Бензиной! – встала на стул и запела взрослому песню: «Огонек, огонек, ты свети мне в пути...»

Борька упал на пол, задрывал ногами и захохотал как ненормальный: «Настоящая Бензина!»

Свойство проверять, перекручивать незнакомые слова, вставлять или выбрасывать неудобные для меня звуки осталось на всю жизнь, хотя старательно повторяла за мамой «правильные» слова.

У каждой девочки в нашем дворе был свой «секретик». Собрать и сделать настоящий тайник совсем не просто: сначала надо отыскать матовые стеклышки – полдня мы, с палочками в руках, бродили за сараями, где на вольном выпасе гуляли куры, – стараниями их желудков обычные стекла становились матовыми. Потом, потихоньку от взрослых, рвали на клумбах бархатцы и настурции. Выкопав в укромном месте небольшую ямку, чтобы никто не видел потайное сокровище, устилали ее лепестками, кусочками фольги, а сверху красиво вы-

кладывали цветные и матовые стеклышки, пуговики, камушки, накрывали всё прозрачным осколком стекла и зарывали землей так, чтобы никто не мог заметить «секретик». Чудесно отыскать его на другой день и показать лучшей подружке. Это своеобразное колдовство, магический обряд так же очаровывали, как сказки о тридцатом царстве. Присутствие необычайного всегда щекотало мне сердце.

Только подумаю: «тайна, секрет» – и золотой ключик памяти отворяет волшебную дверцу, а за ней – «кукольный театр» детства: игрушки оживают, разговаривают нашими нарочно писклявыми голосами, ходят в гости друг к другу, учатся в школе, лечатся вместе с добродушным любимцем всего двора – рыжим псом Шариком.

Когда взрослые спрашивали, кем я стану, когда вырасту, чаще всего отвечала: «Буду просто врач-медсестра». Наверно, способности, присущие нам еще в прежних воплощениях, нарочно дают о себе знать в раннем детстве: я не боялась вида крови, сама порой мазала зеленой вечно разбитые коленки, и не только себе, но и соседским девчонкам, мне нравилось бинтовать послушного Шарика, ставить куклам уколы, поить из соски больных котят... К нашему дому пристроили вход в подвал, похоже было это сооружение на маленький сарай с наклонной, до самой земли, крышей, на которую запросто можно забраться, там мы играли в больницу.

Жили мы, как многие на квартале, довольно бедно, но дружно и весело. В праздники, когда собирались гости, взрослые пели, шутили, молодо смеялись. Отец играл на гитаре или на мандолине, моя бойкая, задорная мама лихо плясала, подзадоривая гостей звонкими смешными частушками, взрослые веселились в зале, а нас кормили вкусностями на кухне и отправляли гулять.

На каждый праздник мама напекала несколько тазов сдобы. У Алисы Льюиса Кэрролла от сдобы добреют, от горчицы огорчаются, у нас с Борькой, только стоило нам почуять ванильный запах свежеспеченных булочек, сразу прекращались ссоры и самые интересные игры. Мы бежали на кухню и с сияющими глазами, тихонько, сидя на маленькой детской лавочке, дожидались, когда немного остынут и «отдохнут» булочки с изюмом, которые мама всегда вынимала из печи первыми. Сладостями нас особо не баловали, конфет, шоколада в доме не водилось, поэтому теплые, тающие во рту булочки казались сказочно вкусными, и мы блаженно улыбались.

Больше всего я любила пирожки с маком. Таскать еду на улицу мама не разрешала, но сейчас перед глазами картинка: стою за нашим домом на садовой земляной дорожке с маковником в руке и чувствую одновременно тепло земли босыми ступнями и волшебный вкус макового пирожка во рту. Легкий ласковый ветерок охлаждает обгоревшие на солнце руки. Пьяно и медово пахнут липы, которых не видно, но сильный сладкий аромат растекается по всему кварталу, не видно птиц, но счастливые трели звучат не переставая. Полная нетленная отрада вспыхивает в сердце только тогда, когда жизнь воспринимается остро, сразу всеми органами чувств.

Пусть из памяти годы и дни выпадают,
но волнующий голос доносится из темноты:
снова мама нарядная и молодая,
и в открытые окна умытые дышат цветы.

Годы детства пронизаны синей прохладой,
после лета опять наступает весна...
И цветет мое сердце в глубинах тенистого сада,
в царстве сладкого краткого сна.

Для многих содержательны и значительны (с самых малых лет) только яркие бурные события. Я воспринимаю окружающее иначе: из мелких, порой крохотных деталей воссоздается в сердце ощущение минувшего времени, которое не измеримо обычными мерами. Может быть, другие женщины любят ушами, я с самого детства обожала прикосновения, запахи, цветочные, световые, вкусовые ощущения, а звук на киноленте памяти иногда стерт совершенно. Эпизод немого кино моего детства: мокрая холодная весна, зацветают яблони, вернее, розоватые бутоны набухли, но еще не готовы приоткрыться, от них исходит сильное, неукротимое желание нежных прикосновений – и мы с подружкой Леной не выдерживаем, губами срываем нераскрывшиеся бутоны и... жуем. До сих пор во рту легкий, чуть кисловатый вкус весны – запретное чувство цветочного поцелуя.

ИМЯ ЛЮБОВЬ

Мое имя Любовь – зеркало, в котором отражался зримый мир. Любовь радостно, даже восторженно обнимала всё вокруг: жесткий упругий стебель хвоща, теплого мягкого котенка, двухэтажный приземистый дом с темноватыми квартирами, соседских ребятишек со всего квартала, нашу большую семью с целой армией близких и дальних родственников. Всё вокруг мне казалось необыкновенным, чудесным, как живое продолжение волшебных сказок. Каждое слово, мельчайшую деталь, любой самый незначительный образ я бережно храню, как драгоценности, в узорчатой шкатулке памяти, авось стодится позабавить постаревших подружек или внуков, вечно жадных до сказок о невидимой, исчезнувшей жизни, где давным-давно жила-была их бабушка.

Когда ты влюблен, радостно просыпаешься, день до самого края напоен солнышком. Детские очарования следуют одно за другим, а иногда одновременно, в первом классе я восторгалась толстощекой одноклассницей в очках и серьезным, почти суровым, мальчиком с тонкими интеллигентными чертами лица. Мальчика звали Игорь, я сидела с ним за одной партой, ходила к нему в гости, и мы вместе делали уроки: я получила подряд единицу и двойку по арифметике в рабочей тетрадке, и ему поручили меня «подтянуть». Занимались мы недолго, недели две, но всю юность я всех мальчиков сравнивала с Игорем: от него веяло чистотой и аккуратностью – костюмчик отглажен, как с иголки, воротничок белейший, тетрадки – в чистеньких обложках, чернильница – в удобном бархатном мешочке. Мне нравилось, как он по-военному держит спину, как уверенно под четким прямым углом поднимает руку на уроке, как спокойно и умно отвечает учителю. В нем не было ничего лишнего: ни слова, ни жеста, ни взгляда. Я всякий раз терялась и краснела, когда он смотрел мне в глаза, было как-то неловко и весело одновременно, и всегда казалось, что только он из всех мальчиков нашего двора похож на принца из сказки или на летчика (и то и другое было одинаково чудесным).

Без отрыва от этой любви я восторгалась беленькой Таней Стеблецовой, дочкой учительницы старших классов по математике. Девочка ко всем возможным

чудесам оказалась отличницей, и буквы на чистописании выводила такие ровные, круглые и красивые, как бублики, что хотелось их лизнуть языком, а на уроке Таня сидела, не шелохнувшись, и слушала учительницу так внимательно, словно та раскрывала нам великую тайну. Таня пришла в первый класс в туго накрахмаленном белоснежном фартуке с пышными кружевными оборками, короткие толстенькие белые косы украшали большие капроновые ленты. Красота, да и только! С первого дня знакомства мне в ней нравилось решительно все: и тяжелые очки с большими линзами, и крохотной пипкой носик, и руки с короткими тонкими пальчиками.

Ранней осенью она повела меня в гости к бабушке с дедушкой, которые жили в своем доме, подле которого раскинулся небольшой плодовый сад. Мы почти весь день не отходили от желтой и синей слив. Плоды уже немного переспели, и душа трепетала от удовольствия срывать душистые нежные кисло-сладкие фрукты, небом чувствовать упругую полупрозрачную мякоть. Что-то доброе, щедрое и уютное навсегда поселилось в этом небольшом саду, до сих пор скучаю по его тенистым уголкам, где мы играли в куклы с белокурой умницей Таней. Давно снесли низенький белый дом, вырубил сад, умерли радушные люди, заботливо растившие его: упала с неба шапка-невидимка и накрыла, спрятала от любопытных дедушку с бабушкой и высокие кусты слив. Но я точно знаю, сад и его обитатели просто перенеслись в иное пространство, которое иногда отворяется – и из тридесятого царства видно, как в заколдованном саду поливает цветы сухонькая седая старушка, и день-деньской под деревьями бегают две девочки и собирают в подолы спелые солнечно-желтые сливы...

Вскоре Таню перевели в другую школу, а через полгода родители Игоря навсегда уехали из нашего города, и я никогда больше не видела этого мальчика.

Как беспечально сменяют друг друга времена года, так детские очарования расцветают и гаснут, не исчезают, а превращаются в другие увлечения. Родственники гостевали у нас круглый год, но летом приезжали целыми семьями и оставались подолгу. За одно лето я «полюбила» сразу трех девочек: троюродную сестру – москвичку Олю в красном платьице в крупный белый горох и дочек друзей нашей семьи, которые приехали погостить из Иркутска. Девочки, нарядные и аккуратные до неправдоподобия, похожие на кукол с закрывающимися глазами. Сестренки носили маленькие, украшенные искусственными фиалками соломенные шляпки. При знакомстве девочки подарили мне детскую сумочку: «Это тебе!» Счастью моему не было предела, девочки сразу показались мне самыми замечательными и необыкновенными.

За доброе слово, за улыбку я могла, в прямом смысле, расшибиться в лепешку. На следующее лето, когда у нас гостила родственница из Зайсана – Лиля, веселая разговорчивая черноглазая девушка-красавица, так и случилось: она приветливо поговорила со мной – и всё, я была на седьмом небе от счастья. Как хвостик, носилась за ней повсюду, однажды так разогналась, что, запнувшись о камень, перелетела через него, упала на тротуар – и несколько метров проехала по инерции на ушибленном колене, которое изрядно ободрала. Мне было больно, но чувство неловкости и стыда, что я так шлепнулась перед своим кумиром, не дало мне зареветь: поднялась и похромала замазывать рану зеленкой. Лилия уехала, но моя погоня за ускользящим чудом продолжалась, наверное, с рождения я обладала свойством очарованных натур принимать в сердце всё разом: и нашу большую семью с многочисленными родичами, и тенистый сад, где вместе со сверстниками

мы играли, особенно летом, до самого темна, и всех ребятишек квартала «Б». Многие девочки и мальчики во дворе, в классе казались особенными: красивыми, умными, интересными, в отличие от меня, неловкой, простодушной, чересчур смешливой, с круглым лицом «тунгуски».

Любка сразу рассмеется,
только палец покажи.
Вечно бегала за солнцем,
хоть держи, хоть не держи.

С «музыкантиком» на нитке
можно прыгать целый день.
Звонкой радости в избытке:
нам гудеть вдвоем не лень!

Крутиться у зеркала – это не моё. Сад врывался в мое сердце еще до того, как я просыпалась. Рано утром, сквозь сон, слышала гомон птиц, в форточку влетал аромат цветущих яблонь, – подскакивала и, частенько лохматая, убегала к дворовым друзьям. Порой маме удавалось меня изловить и заставить заплести косы: волосы путались между пальцами, ленты выскользывали, и я ревела, ведь где-то там, на воле, всюю шла игра, «девицу воровали», разбивали «кандалы», а я мучилась с жиденькими косичками. То ли дело Ленкины волосы! Коса длинная, толстая, словно лаком покрытая. А глаза, – загляденье просто, большие, карие, с поволокой, как у олененка, не то что у меня.

Лену ее мама водила в танцевальный кружок во Дворце строителей, подружка выступала на настоящей сцене, а мое сердце замирало от страстного потаенного желания танцевать, как балерина, ходить на цыпочках, кружиться, как юла, вместе с другими девочками, но не смела просить маму о невозможном: ей и так хватало разных забот с нашим большим семейством, поэтому молча тосковала о танцах. Во втором классе я все-таки станцевала в костюме цыплёнка на школьной елке, очень старалась, хотя путалась в движениях и не попадала в такт чаще всех, но родители нам все равно усердно хлопали, сердце трепетало от радости. И желтой, марлевой, туго накрахмаленной пачкой (почти как у балерины!) гордилась. За самые красивые костюмы давали призы, а мой чудесный наряд почему-то даже не заметили. «Это из-за меня, неловкой, непривлекательной», – вертелось в голове.

Впервые почувяла, что со мной что-то не так, когда в игре «Девушку воровать» всех девочек выбирали мальчишки-сверстники, а меня в упор не видели. Как на замершей киноленте – стою одна посреди двора, из сада доносит ветерок сладкий тревожный запах скошенной травы. Там за спиной смеются девчонки и мальчишки, а мне грустно так, словно я потеряла черепашку. Однажды такое случилось – вынесла я черепашку поползать на траве, сама заигралась, а когда опомнилась, черепашки и след простыл. Искали всем двором, но так и не нашли. Чувства утраты, горечи, печали – первые вещицы птицы из государства взрослых: только приблизится пора очарований, как тут же, неведомо откуда, долетает к нам совсем не детское состояние тоски и тревоги. Но, может быть, это предвестники яркой и необычайной судьбы? Кто знает...

Как-то ранней осенью, когда все домашние куда-то ушли, оказалась на том же месте игр совсем одна – и замерла от странного, невнятного чувства. На небе появились первые, еще совсем бледные звезды, сердце трепетало, словно я качалась на зыбкой доске высоко подлетающих качелей, и, неведомым образом, раз и навсегда узнала или услышала отчетливо: неправда, что меня раньше не было, я жила всегда и никогда не умру. Мысль нечаянная о бесконечности судьбы успокоила, – и сердце билось уже ровнее. Пахло опавшей листвой, небо стало темно-синим, всё ярче светили звезды, вскоре я заметила идущую мне навстречу маму, – и мы пошли домой. В раннем детстве я воспринимала дом самым лучшим и уютным местом на земле, может быть, потому, что была самой младшей из детей.

Старшая сестра всю жизнь сердилась на маму за то, что она родила четверых. «Зачем плодить нищету?» – частенько возмущалась она. А я тому, что нас много, всегда радовалась и года в четыре решила, что у меня, когда вырасту, будет не меньше четырех сыновей: долгие годы наша семья жила хоть и бедновато (отец получал 70 рублей, а мама в ту пору не работала), но дом был полон весельем и теплом. Дверь в нашу квартиру не закрывалась целыми днями: то бабушка с тетей Женей придут (они жили на нашем квартале, рядом с магазином), то соседка забежит, то мы, ребяташки, туда-сюда гоняем.

За стол вечером собиралась вся семья, дети, все четверо, садились на большую деревянную скамью и, давась от хохота, принимались за еду. Стоило нам чуть расшуметься, строгая мама выгоняла безобразников из-за стола и оставляла без ужина. Кормили нас едой самой немудрящей: каким-нибудь супом, кашей и, чаще всего, жареной картошкой. Любой вкусный кусочек делился всегда на равные части, в нашей семье это закон, и даже для меня, самой маленькой, не было исключения. Делиться поровну мне нравилось. Совсем не понимала подружку, которой мама покупала дорогие шоколадные конфеты, а Лена ни с кем, в том числе и со своим братом, никогда не делилась, складывала сладости под подушку, а потом тихонько одна ела.

Мне конфеты она только показывала, но, при всей любви к сладостям, я никогда ничего не выпрашивала, так уж нас воспитала мама. Помню, как я облизывалась, так мне хотелось попробовать маленький-маленький кусочек торта (пахло же на всю квартиру ванилью и свежей выпечкой), который испекла мама подружки в день ее рождения, желание было таким мучительным, что я поскорее засобиралась домой, но даже на улице за мной летел сладкий запах соблазна.

СНЕГУРОЧКА

У нас дома конфеты появлялись редко, чаще всего на Новый год. На елку, которую ставили в зале, вешали мигающие лампочки, игрушки, мандарины и шоколадные конфеты. Чтобы получить угощение, нужно было сплясать, спеть или рассказать стишок. Конечно, мы и наши гости, дети со всего двора, старались вовсю, и, срезанная с елки, конфета казалась вкуснее и слаще от того, что мы ее «заработали».

Пышные высокие пихты незадолго до праздника каждый год появлялись в доме, и сразу запах смолы, мокрой хвои наполнял всю квартиру до самого потолка. Не помню, верила ли я в Деда Мороза, но даже ожидание праздника всегда было волшебным. В школе все окна и стены спортивного зала закрывались

яркими картинками на картоне на сюжеты сказок, которые нарисовал учитель по рисованию, Александр Яковлевич. Огромную елку украшали ученики младших и старших классов вместе. На нижних ветках малышня вешала самодельные, раскрашенные акварелью цепи, гирлянды из жатой бумаги, а старшеклассники взбирались на стремянку и украшали макушку и ветки, что повыше, огромными стеклянными шарами и шишками.

Мама состояла в родительском комитете, и каждый год к елке родители придумывали интересные подарки, один раз вместо кульков сшили симпатичных кукол-Петрушек, внутри которых спрятали конфеты, яблоки, мандарины. Дома елку украшали только старшие, а нас с Борькой отправляли в другую комнату спать, незадолго до двенадцати будили – елка во всем величии уже сияла и подмигивала маленькими бегающими огоньками и дразнилась конфетами и орехами, спрятанными среди ветвей. Впереди заманчиво, как слово «свобода», мерцали и переливались радужно зимние каникулы.

В детстве я замечала только два времени года: лето и зиму, остальное – только ожидание этих времен радости. Посреди квартала в холода заливали каток. Дети постарше катались на коньках до самой ночи, а малыши с визгом, на санках, просто на корточках, съезжали с ледяных высоких горок, валялись в сугробах, строили крепости из снега, лепили снеговиков.

Однажды у «министерского» углового дома мы весь день валяли снегурочку, не грубого и нелепого уродца из трех большущих снежных шаров, а настоящую снежную красавицу, у которой было нежное личико с маленьким носиком, – это кто-то из старших ребят постарался. Вдоль стройной фигурки – аккуратные ручки в варежках. День солнечный делал снег липким и рыхлым, и понемногу из бесформенной снежной бабы по-щучьему велению, по-нашему хотению получилась сказочная снегурка. Мы изрядно замерзли (к вечеру похолодало), рукавички насквозь промокли, от нашей первоначально большой компании осталось человека четыре, уже и фонари зажглись, а мы всё лепили свою снегурку, раскрашивали ее акварельными красками. Это снежное творчество подружило «министерских» детей из углового дома, – где жили начальники алтайэнерго-ских предприятий, – и нас, детей из семей с обычным достатком, хотя до этого, наверное, прислушиваясь к разговорам взрослых, играли всегда порознь.

Утром нашу снегурку разбомбили, а у меня до сих пор перед глазами снежное чудо: большие синие глаза, алые улыбающиеся губки, вздернутый носик, лепная, пшеничного цвета, коса перекинута через плечо, рукой в маленькой красной варежке она держит еловую ветку. Всегда находятся разрушители, в душах которых с самого детства буйно (вместо умений и навыков творчества) разрастается завистливый сорный чертополох пакостничества, подлости: раз сами не могут, чужой труд уничтожат – и посмеются, и позлорадствуют. Того не ведают глупцы, что прекрасное вечно хранится в пространстве памяти, его просто невозможно стереть, изъять, уничтожить.

Все ребяташки квартала любили прыгать с высоких заборов, с крыш сараев в пышные сугробы, и я не отставала от других. Сиганешь, – и несколько коротких мгновений летишь, как птица! Приземлялись не всегда удачно, иногда – на ледяную горку, порой – на слежавшийся, почти каменный, сугроб, но плакс и трусишек у нас не любили, поэтому больно – не больно, но поднимаешься и снова забираешься на сарай – и летишь вниз, в снежную неизвестность. Осень

зиму и весну я ходила в «семисезонном» пальто, как мы его в шутку называли, перешитом из старого клетчатого жакета, зимой для тепла поверх пальто появлялась шерстяная, грубой вязки, шаль, которую стягивали узлом на спине, при этом она же покрывала голову.

В таком наряде я ходила не только гулять во дворе, но и в школу. Все девочки и мальчики зимой носили удобные теплые матерчатые шаровары, внизу штанин вдергивали резинки, натягивали шаровары поверх валенок – и вперед, кувыркаться в сугробах! Умаявшись к вечеру от беготни и прыжков, особенно после недавнего снегопада, когда ударял легкий морозец и свежевыпавший снег под фонарями переливался всеми цветами радуги, мы играли в «богатство». Снег превращался в горы серебра, мы его делили на части, прочерчивая веточкой границу наших царств, потом пересыпали его из одной варежки в другую, снежинки искрились и сухо позванивали на лету. Особое ощущение владения «богатством» кружило головы, – и мы от восторга падали в сверкающие сугробы навзничь и блаженно лежали в снегу, глядя на первые звезды. Сердце щекотал ветерок необычайного, от сугробов остро пахло то ли огурцом, то ли яблоком – мы загребали снег рукавичками и представляли, что едим мороженое. Вскоре весь двор оглашался родительскими криками: «Домой!», и мы, облепленные снегом с головы до ног, бежали на зов.

Зима морозная была ко мне добра
и в щеки, словно мама, целовала...
Под фонарями горы серебра
по вечерам украдкой рассыпала.

Давным-давно, в доверчивом когда-то,
была я так мучительно богата.
Алмазная сверкающая тьма
мохнатой лапой гладила дома.

Детство окликает меня часто, может быть потому, что оказалось совсем коротким, а особая звонкая радость тех лет помогает одолеть высокие горы горя и пропасти судьбы.

ЖЕНИХ И НЕВЕСТА

Во втором классе мне поручили заниматься чистописанием с мальчиком из нашей «звездочки» Толей Рудометовым, он жил в соседнем подъезде. В отличие от сказочно чудесного Игоря, Толя казался мне самым обыкновенным: форма плохо выглажена, воротничок пришит косо, пальцы вечно в чернилах, а темные, без блеска, глаза всегда полны грусти. И мне его хотелось частенько пожалеть, сказать что-нибудь хорошее. Когда-то он воспитывался в детдоме, потом его усыновили супруги Рудометовы. Во дворе судачили, что они оба попивают и поколачивают Толю, наверное, поэтому у него частенько тряслись руки, и писал он как курица лапой. Чему уж я могла научиться в такой ситуации мальчика, не знаю, но мне нравилось изображать из себя учительницу, и я каждый день ходила к Толе в гости, и мы вместе делали уроки. В квартире Рудометовых было чистенько, но пустовато и неудобно: всё какое-то потертое, унылое, чувствовалось, что в доме мало радости.

Быстренько покончив с уроками, мы затевали игры, а когда приходила с работы мама Толика, пили жидкий чай с серым хлебом, с одной ложечкой сахара, – жили они бедней не придумаешь, – и мама читала нам вслух большую синюю книжку с яркими картинками. Мне нравилось играть с мальчишками даже больше, чем с подружками, но почему-то дворовые ребяташки дразнились и смеялись, когда такое случалось. Ранней весной мы с Толиком вместе вышли из его квартиры, и на крылечке на нас посыпался град насмешек: «Жених и невеста поехали за тестом, тесто упало, невеста пропала...»

Мы разбежались в разные стороны, стыдясь сами не зная чего, и больше я к Рудометовым никогда не заходила. Толик после наших занятий стал писать немного лучше, и мое октябрятское задание можно было считать выполненным.

День, когда меня принимали в октябрята, запомнился во всех подробностях. В спортивном зале, на втором этаже, обвалился потолок, и мы временно занимались в три смены. В теплый ноябрьский день после уроков, – младшие классы учились в первую смену, – нас выстроили на торжественную линейку, каждому прикололи звездочку и пожелали хорошо учиться и быть настоящими октябрятами – веселыми ребятами. Домой я прибежала совершенно счастливой и всё время разглядывала и гладила кончиками пальцев свою алую пластмассовую звездочку, мне казалось, что такой красивой звездочки нет ни у кого на свете.

В этот же день, – судьба любит собирать радости и испытания в букеты, – папа наконец-то купил телевизор «Рекорд». Я бегала по двору и отчаянно хвасталась своей волшебной звездочкой и телевизором, словно сделала их своими руками. Звездочки носили все сверстники, а вот телевизоры только-только появились на квартале. В нашем доме их было всего лишь два или три, поэтому к нам часто приходили соседи посмотреть кинофильмы, почему-то было много фильмов, запретных для нас, ребяташек. Частенько диктор объявлял, что детям до шестнадцати фильм смотреть не рекомендуется, и нас тут же выгоняли в другую комнату и закрывали дверь. Мы, сгорая от любопытства, ложились на пол у двери и, отталкивая друг друга, пытались подсмотреть, что там показывают, через щель под дверью. Наивные фильмы пятидесятых о стройках и товарищеской строгой любви детям смотреть не разрешалось, словно нас пытались убедить, что любовь это что-то постыдное, что мы сами взяли неизвестно откуда, совершенно не постижимым образом.

Нездоровым интересом к потайной стороне жизни никогда не страдала, но были ушлые ребяташки, которые всегда держали ушки на макушке, вынюхивали и высматривали подробности отношений взрослых, а потом громко, без лишнего смущения, даже с каким-то большим азартом, поясняли глупой малышне, чем это занимаются папа с мамой ночью под одеялом. Самым неверующим показывали на пальцах красноречивыми жестами. Я, услышав, ужаснулась, не поверила, но все равно осадок остался, и я решила, что жениться – это плохо.

Брат моей любимой подружки Лены, он старше нас лет на пять, любил играть в солдатиков, сделанных из пустых деревянных катушек для ниток, – их у Сережки было множество, – и часто, когда я приходила к Лене поиграть в куклы, он смешил нас, вернее, смеялась больше всего я, а серьезная подружка порой даже не улыбалась.

– Любке, наверно, смешинка в рот попала: палец покажи – и она хохочет. Она даже нашей Ленки красивее, – говорил Сережка своей маме.

Насчет смеха всё верно, но о моей красоте и речи быть не могло, где уж мне, круглолицей «тунгуске», сравниться с волоокой, хорошенькой, как кукла, Леной.

Чем больше шутил Сережка, чем больше я заливалась от смеха, тем сильнее сердилась Ленка и надувала свои и без того пухлые губы, с букой становилось скучно: я бросала кукол и шла играть в солдатиков. Разыгрывалось сражение, в котором моя армия всегда проигрывала, но мне нравилось ползать на четвереньках по полу и палить из катушечных пушек по неприятелю. Мы могли, забыв о сердитой Лене, часами передвигать солдатиков из одного конца комнаты в другой. Каждый удачный выстрел означал продвижение твоего отряда вперед, случалось, что бой заканчивался, когда мое войско едва успевало продвинуться на два перехода (две половицы), а ловкий Сережка проходил все десять и разбивал солдат на моем поле. Сердце мое никогда не волновалось, когда я на него смотрела. Какой трепет может быть у боевых товарищей? С чего Сережке и его другу Валерке однажды пришло в голову, бегая по улице, орать во всю головушку всякие глупости, я по сей день не знаю, но разозлили они меня здорово.

«Любка, а, Любка! Я вырасту и на тебе женюсь!» – крикнул Сережка, когда я спокойно искала свой «секретик». Ах, как я возмутилась, надо было видеть! Я кинулась на него с кулаками, но он увернулся, показал язык и был таков, но тут из-за дома выскочил Валерка – закадычный друг Сергея. «А Сережка на тебе женится!» – завопил он. Я бегала за ними по всему кварталу, ревела и в ответ на их дразнилку кричала: «Неправда, я никогда не пойду замуж!» Но где уж мне было угнаться за двумя четырнадцатилетними обалдуями.

ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ

Этим же летом я поехала на первый сезон в пионерлагерь «Гастелло» в Горную Ульбинку, в особое, таинственное место на Земле. Под левой коленкой у меня была не проходившая уже несколько месяцев большая шишка. Она не болела и мне совершенно не мешала, и я целыми днями бегала под палящим солнцем.

Всё детство я провела на «вольном выпасе» в тенистом и большом саду нашего квартала, поэтому цветы, деревья, птицы были всегда частью меня самой, веселой, шумной зеленой семьей... В саду всегда было хорошо и уютно, как дома. Сорвешь стручок желтой акации, сделаешь свистульку – и бегаешь весь день по саду, и дуешь в зеленую пищалку.

Детство – острая свистулька:
дунешь в дырочку – поёт.
словно кто-то движет стулья
постоянно взад-вперед.
Так, беспечная забава:
бегай, прыгай и свисти,
прыгай, приминая травы,
крепко сжав стручок в горсти.

Дикая природа Горной Ульбинки, тревожная, скрывающая множество потаенных, как в страшной сказке, уголков, немного пугала, и мое сердце частенько замирало, когда в сочной густой траве кто-то невидимый пробежал или поползал.

Однажды на берегу рукотворного пруда, там, где круто взмывала тропа вверх по скользкой после дождя глинистой горе, я внезапно прямо перед собой увидела дерево без листвы, но на каждой веточке извивались маленькие зеленые змейки. Возможно, это были новорожденные ужата, но я на миг застыла от ужаса и бегом рванула в верхний корпус, в котором жили все младшие отряды. О дереве змеином я почему-то никому не рассказала, но спустя годы вспоминала скользкую тропу и змеят на ветках, которые, казалось тогда, вот-вот сорвутся мне прямо на голову.

Было в этой встрече с гадами ползучими что-то нереальное, мистическое, предостерегающее. Лагерь «Гастелло», зажатый в лощинке между двух гор, славился сыпучей змеиной горой, с которой частенько сползали гадюки, их ловили и убивали то у больничного, то у нижнего корпуса.

Я познакомилась с коварной гадюкой в этом же лагере, когда мне едва минуло три года. Мама работала в лагере всё лето, а мы, вся четверка, жили вместе с ней в нижнем корпусе барачного типа. В семейном альбоме хранятся фотографии, на которых я на руках еще счастливых и молодых родителей в куще буйных деревьев и трав. Но, как ни странно, запомнился только запах цветущей калины над говорливой, каменистой, веселой речкой да еще несколько кратких минут знойного дня. Я стою возле деревянной столовой, а мне кричат: «Не двигайся! Змея!» Я замерла – и увидела большую коричневую змею под ногами, еще пару шагов – и я бы на нее наступила. Меня напугал больше крик, но сама гадюка, я ее за несколько мгновений успела хорошо разглядеть, вызывала пока только любопытство: стояла и с интересом смотрела, как она подползает всё ближе. Тут меня подхватили на руки, а злосчастную гадюку загнали в бутылку. Змея изворачивалась, шипела в бутылке. Капелька яда, которую она выпустила уже внутри сосуда, легко могла убить, но вмешалось провидение.

С этого момента я панически боялась змей, любой безобидный уж вызывал в моем сердце леденящий страх, хотя другие пресмыкающиеся были настолько симпатичны, что я с радостью держала в руках маленькую дачную лягушку. Мы ловили садовых изумрудных ящерок, чаще всего они ускользали, но наша детская энергия была ключом – и одну ящерку, мне хорошо помнится, мы с Ленкой Богомоловой умудрились умять. Ухватили, посадили потом в литровую банку, насыпали ей зеленой травы, попытались покормить мухами и яичным желтком, но ящерка ничего не ела, не пила: в неволе она сразу погрузилась, обреченно закрыла глаза и почти не шевелилась. К вечеру она уже совсем не походила на шуструю, юркую красотку, за которой мы гонялись часа два кряду. Печальную, покорную ящерку стало жалко до слез, и мы решили ее освободить. Только положили вялое шершавое тельце на утопанную, еще горячую от солнца садовую дорожку – ящерка встрепенулась, мгновенно нырнула в густую траву и исчезла... Мы радовались, что не замучили беднягу до смерти, но расставаться с ней было всё-таки грустно, ведь почти полдня ящерка была нашей, домашней, мы не отходили от нее ни на минуту, надеялись, что она останется с нами надолго, то и дело подсовывали ей воду в крохотном блюдечке, свежую травку, даже пытались придумать ей имя, но она так и убежала безымянной...

Ужас перед змеями крепко засел в подсознании, перед тяжелыми испытаниями мне, спустя почти полвека, снились клубки змей, страха уже не было, только ощущение холода и неизбежности, неотвратимости удара из-за спины, и я, еще не проснувшись, понимала, откуда грозит опасность...

Страх подогревался в лагере детскими страшилками, многие девчонки нашего отряда наперебой пугали друг друга змеями-огневками, которые якобы догоняют человека, нападают на него, прыгнут, пролетят метра три – и смертельно жалят. Я верила безоговорочно и очень ясно представляла себе больших ярко-оранжевых змей. Мы рассказывали перед сном, в темноте, шепотом фантастические жуткие «истории» про летающие гробы, про красную перчатку, которая жила сама по себе, влетала в форточку и играла на рояле смертельно страшную музыку, а самая пугающая сказка называлась «Остров страшной руки».

ПЯТЕРКИ И ШЕСТЕРКИ

Ржавый крючок страшного и запретного легко, почти играючи ловит детские души и, если не убивает, то уродует, порой навсегда. Любопытные ребятки-рыбятки гурьбой кидаются на заманчивую наживку – и раз, подсечка, и ты на крючке, весь во власти «рыбака»... А дальше как повезет, могут и отпустить в родную речку. Мне повезло, я была еще маленькая, а детишек постарше года на четыре, в том числе и моего брата, уже поймали на крючок: в город завезли наркотики, о которых прежде никто и не слышал на нашей улице, торговцы зельем посадили на наркотики подростков – прежде всего детей начальства. Отец наш в то время заканчивал энергетический техникум, быстро продвигался по партийной лестнице, как тогда говорили, и вскоре стал руководителем центральной службы связи. А Борька уже запутался основательно в сети запретного, страшного, но любопытного и доступного удовольствия. С этого и начались большие беды нашей семьи.

В двенадцать лет брат связался с хулиганской кампанией и с торговцами наркотиками, стал убежать из дома, иногда его сутками не могли отыскать. Мама брала в хозяйственную сумку тяжелый чугунный пест и в ночь-полночь шла искать неупутевого сына...

Когда я приехала домой из «Гастелло», мама и отец мучительно думали, как спасти Борьку. Перед началом учебного года решили увезти его в Зайсан, подальше от соблазнов и друзей-хулиганов. Осенью мама и Борис уехали на родину отца, где жили близкие и дальние родственники, устроиться там было легче, чем в незнакомом месте. Меня определили на жительство к бабушке и незамужней тете Жене.

Спала я в кухне, на зеленом сундуке, обитом жестью, за лето вытянулась – и ноги свешивались с импровизированной лежанки на подставленный стул, иногда, правда, удавалось забраться на широкую теткину кровать и подкатиться под ее пышный бочок. Тетя Женья – полная, гренадерского роста, добродушная старая дева, со всей нерастраченной страстью взялась меня усердно воспитывать и вылизывать, подкармливать, как худого костлявого котенка. Шоколадные конфеты и огромные яблоки апорта я лопала, чуть не мурча от удовольствия (дома такие угощения были редкостью), но когда Женья, мы все ее звали всегда по имени, намазав волосы репейным маслом, туго-туго заплетала мои косички и поила рыбьим жиром, я вырывалась и отчаянно пищала. Тетка в свое время училась слабенько, однако из меня она решила сделать отличницу. От ее нотаций, от бесконечных переписываний домашних заданий мне хотелось порой кусаться и мяукать. Прежде я без всяких усилий училась на твердые четверки, но тетя Женья упорно выдавливала из меня пятерки, как пасту из тубика.

Однажды я, ликующая, прибежала из школы:

– Ура! Пятерка за диктант! – радостно завопила я.

А упертая тетя Женя уныло, с упреком прогундела:

– Если бы ты меня слушалась и как следует старалась, больше сидела за уроками, то каждый день пятерки получала бы...

Слезы так и брызнули у меня из глаз.

– Вам хоть одни шестерки приноси – всё мало!

Выкрикнула от обиды, заревела в голос и убежала к бабушке на кухню.

Домашние задания чаще всего делала одной левой и поскорее убегала во двор. В школу ходила с удовольствием, хотя особой усидчивостью не отличалась. С арифметикой, в отличие от своих старших братьев и сестры – студентки физмата, не очень дружила, любила чтение, труд, физкультуру, но больше всего большую перемену, когда мы расстилали салфеточки прямо на партах и пили кисель с булочками, а потом весело гарцевали в спортивном зале, ездили по перилам, играли в ручеек.

Первую учительницу, Лидию Ивановну Сушко, худенькую, серьезную, с ласковыми и веселыми глазами, мы очень любили. Только она входила в класс – шум и гам затихал, начинался урок чистописания, мы открывали тетрадки, макали стальные перышки в чернильницы и старательно выводили буквы. Теперь таких уроков в школьной программе нет, у многих моих одноклассников почерк выработался четкий, характерный, вполне читаемый, это, конечно, не художественная каллиграфия девятнадцатого века, украшенная непременно завитками, но письма нынешних школьников небрежны, неразборчивы, неопрятны, настоящие каракули. У Лидии Ивановны были золотые руки, до сих пор помню, как она ловко склеивает объемных рыбок из бумаги или вырезает ажурные снежинки: чик-чик – и из белого квадрата получается кружевное чудо!

Поздней осенью, когда уже всюду лили холодные дожди и темнело очень рано, нас взбудоражила новость: завтра у Лидии Ивановны день рождения. Дети больших начальников свинцово-цинкового комбината уже приготовили свои подарки, купленные родителями заранее, и хвастались друг перед другом, у кого подношение дороже. Но наивных романтиков в нашем классе хватало.

– Давайте подарим что-нибудь красивое! – предложила рыженькая Нинка Николаева.

– И сделаем вместе, своими руками, например, букет из бумажных цветов, – добавила я.

Все одобрительно загалдели и отправились вместе домой к Нинке. Жила она далековато от школы, в частном низеньком доме, на почти деревенской, не асфальтированной, утопающей в непролазной грязи улочке за пределами стройплощадки, – так мы называли жилой массив, построенный сразу после войны рядом с комбинатом. Добрели мы до Нинкиного дома уже в голубеющих сумерках. Начисто забыла, что меня ждут из школы, и вместе с другими девчонками старательно колдовала над бумажными цветами. Совсем стемнело, когда наш неказистый букет был готов, но мы были от него в восторге и, главное, сердца наши заходились от радости: вот удивим Лидию Ивановну!

Фонари на улице не горели, и пока мы выбрались из чавкающей грязи, не раз в нее вляпались. Только когда подошли к нашему кварталу и простились с Надей Макелько, которая жила в угловом доме по Новорабочей, я ополоснула

запачканные грязью ладони в холодной луже. От ледяной воды защипало цыпки, и только тут вспомнила, что меня ждут, и, явно, влетит по первое число. Припустила бегом, хорошо, что тетка запаздывала в этот вечер с работы и я успела отмыться и скинуть всё грязное до ее прихода, а бабушка, по обыкновению, ругать не стала, накормила еще теплыми любимыми лепешками с горячим чаем вприкуску с колотым сахаром... Вскоре я уже крепко спала.

Утром в школе мы завязали стебли нашего букета атласной лентой и подарили учительнице, хотя уже видели, что преподнесли «богатенькие»: фарфоровые статуэтки, духи в позолоченных ярких коробках, шоколад «Белочка», дорогие конфеты. Наш букетик рядом с такими подарками смотрелся как-то куце и печально. Реалисты открыто посмеивались над нашим рукоделем:

– Ничего себе букетик кладбищенский!

Нам было обидно до слез, но самодельные цветы все равно казались чудесными, и я отвечала насмешникам:

– Ваши конфетки-статуэтки мамочки с папочками купили в магазине, таких подарков полно, а мы цветы сами сделали, – и ни у кого таких больше нет.

Учительница вступилась за нас:

– Замечательный букет, он никогда не увянет и будет меня долго-долго радовать, спасибо, мои хорошие!

Домой мы бежали гордые собой и бесконечно счастливые.

Кончилась осень, полетели первые мохнатые мотыльки снега. Моя шишка под коленкой заметно выросла, и беспокойная тетушка начала водить меня по врачам. Мотаться по узким тесноватым коридорчикам местных больниц муторно, но я пропускала уроки, и тетка не тиранила меня вечными упражнениями в тетрадах. После долгих мытарств, уже перед Новым годом, меня положили в областную больницу. Благодаря тетушкиным стараниям я попала к знаменитому профессору Пальгову (он тогда писал диссертацию по онкологии).

В больнице мне даже нравилось: не надо ходить в школу, корпеть над уроками. В соседней палате лежали дети, с которыми подружилась, мы делились принесенными нам сладостями, рисовали яркие цветы на матовой оборотной стороне маленьких прямоугольных зеркалец, пугали друг друга мертвецами, которых почему-то складывали временно под лестницей, ведущей на второй этаж. Мы выглядывали как любопытные сороки вниз, когда туда несли очередного, накрытого с головой, покойника. Пугались, говорили страшными голосами, взвизгивали, но понарошку, не всерьез: в нашем детском мире, на планете игр, просто не могло быть настоящего ужаса смерти. До пункции из опухоли (я ее всегда называла шишкой) совсем не чувствовала себя больной.

ВТОРАЯ РОДИНА

Перед самым Новым годом приехала мама из Зайсана: Пальгов срочно направлял меня на лечение в Москву в институт им. Герцена. Диагноз подтвердился – саркома.

Здесь между мной и дальнейшими испытаниями, между детством и сумеречной юностью пролегла пауза. Я всю жизнь потом возвращалась к этой точке отсчета другой судьбы. И мои мысли, моя душа до сих пор запинаются о высокий порог 1962 года.

Елку впервые не поставили, на этот раз украсили мишурой и игрушками домашнюю тую. А утром мы улетали с мамой в Москву, добирались до столицы семь часов, в аэропорту нас встречали родные: тетя Сима и дядя Володя. В их однокомнатной квартире, недалеко от военного городка (вблизи Реутова), мы прожили вместе с хозяевами и их дочкой Олей полгода. Ни разу тетя Сима не повздорила с мамой, хотя, когда отец привез на операцию ещё и моего брата Бориса, в одной комнате нас набилось семь человек.

Деятельная и мудрая моя мама никогда не сидела без дела и не вела себя, как праздная гостья, а покупала продукты, готовила еду, когда это было нужно: тетя Сима преподавала в младших классах местной школы и частенько задерживалась на работе, а по вечерам сидела за тетрадками. Взаимная выручка и даже крепкая дружба двух, в общем-то, непростых, сверхэнергичных женщин возникли как-то сами собой, – и часто в квартире звучали шутки и смех, беда сплотила гостей и хозяев. Добродушного дядю Володю мама частенько подкармливала его любимой колбаской, а он чуть не мурчал от удовольствия, тетя Сима сердилась, что он отпустил пузо, но минутные ссоры не портили общую очень добрую атмосферу в их доме.

Некоторое время меня возили на облучение в институт радиологии на Солянке. Помню приземистые, тесные внутри, старые здания, там, казалось, время текло иначе, не радостное и легкое, как прежде, а смутное и темное, недвижимое, как затонувшая лодка. Больных почти не помню, только мальчика Геню из Грузии, – чуть старше меня, – у него был рак горла, и меня тревожило чувство, что домой Геня не вернется. Так и случилось. Онкология, связанная с дыхательными путями, тогда, в шестидесятые, равнялась смертному приговору, впрочем, и мой диагноз – ангиосаркома сулил такой же исход. Но я выжила, хотя врачи говорили, что если я протяну года два, то появится слабая надежда еще лет на десять...

На Солянку мы добирались через Красную площадь, у метро в киоске мама покупала мне эскимо в шоколаде или конфету «Красная Москва», – и мне шагало немного веселее по улочке Степана Разина, очень кривой, узкой, как бы зависшей над домами, расположенными внизу. Только невысокое ограждение отделяло пешеходов от провала в другой мир.

Однажды в ограду врезался автобус, потерявший тормоза. Он не упал вниз, но, по стечению обстоятельств, сбил двух офицеров, которые шли из Военной академии, – в это время мы оказались на месте аварии. Увидела и на всю жизнь запомнила военного (он был в сознании) без обеих ног. Кровоточащие культы молоденький солдатик пытался забинтовать, но безуспешно, а офицер сидел в луже своей крови и твердил: «Что он со мной сделал?»

Метрах в трёх от него лежал бледный безжизненный военный, похоже, что душа уже покинула тело. Рядом с ним стояла на коленях молодая женщина и плакала. Но это казалось почему-то не таким страшным, как безногий человек в луже крови...

Мама знала уже о предстоящей мне ампутации и понемногу готовила к неизбежности операции, а тетя Сима дала почитать «Повесть о настоящем человеке». Но только после этой аварии я поняла, что меня ждет, и спокойно сказала: «Ампутация – это когда ногу отрезают, теперь точно знаю».

В это время, после радиологического ожога, верхний слой кожи под коленкой почернел, ногу свело, папа носил меня несколько дней на лечение на спине как ме-

шок картошки, а я держала его крепко за шею. Дорога была долгой: тридцать минут на электричке, потом на метро, потом пешком. Острая боль по-прежнему не мучила. Коленку мазали мазями от ожогов, и когда тетя Сима снимала бинты с остатками обугленной плоти, видела сукровицу и воспаленный подкожный слой. Тетя плакала навзрыд, а я удивлялась и пыталась ее утешить: «Мне совсем не больно, не плачь».

Тетю Симу я полюбила как вторую маму и спустя годы написала стихотворение:

Вторая родина – Москва,
вторая мама – тетя Сима.
Беда моя переносима,
поскольку я еще жива.

Перенесу, уже не больно.
Из-за меня не надо слез.
В Москве державно-колокольной
внезапный мартовский мороз.

Беда моя переносима,
осталось жизнь перенести.
Вторая мама – тетя Сима –
отчаянье мое прости!

Начала стихотворение совсем юной, но лишь в момент зрелости души, уже замужем, одолела это болезненное воспоминание, и стихотворение сложилось окончательно. В эту пору я наезжала в Москву частенько и останавливалась всякий раз у супругов Горячевых. Тетя Сима, поджидая меня, пекла сдобные булочки и пирожки, накрывала праздничный стол, а дядя Володя готовил домашний коньяк, а потом ехал в аэропорт встречать казахстанскую гостью, и нигде я не чувствовала себя такой долгожданной.

...От облучения кружилась голова, тошнило, слабость была такая, что мне никуда не хотелось идти, даже в Кукольный театр. Однажды, когда мы шли мимо театра Образцова, мама предложила сходить на детский дневной спектакль. Я отказалась без сожаления: в эти дни мне уже не хотелось ни пить, ни есть, даже обожаемое эскимо мне было ни к чему, единственное развлечение, которое меня радовало – рисование. Часами раскрашивала картинки или делала из бумаги платья картонным красавицам. Ночью перевязанную коленку укладывала на подушечку и пыталась уснуть, поэтому, когда оказалась в Центральном институте травматологии и ортопедии, с нетерпением ждала операции: мама и врачи в один голос мне обещали, что станет легче. За день до поступления в больницу папа принес меня в парикмахерскую, недалеко от Теплого переулкa – и мне подстригли светло-русые косички, довольно длинные, но не очень густые. Волосы лежали на полу, и мне было жаль с ними расставаться, а об ампутации думала спокойно.

Девчонки в нашей палате, как это ведется всюду, пугали меня (обязательной для всех якобы) процедурой иглоукалывания, когда во всё тело втыкают множество иголок. Вообразив себя эдаким подопытным ежиком, готова была убежать из больницы, а на операцию поехала на каталке, улыбаясь.

Ампутацию делали почему-то долго, родные ждали в Институте травматологии и ортопедии до самого вечера. Когда стемнело, папа с мамой стояли на Крымском мосту и, обнявшись, плакали. (Они еще не знали, что это несчастье – лишь начало беспрерывной череды невообразимых бед и потерь, и каждое последующее они будут переживать в холодном отчуждении друг от друга.)

Через пару дней прооперировали Борьку, вставили участок чужой кости, впоследствии рука его ни разу не подвела, и бесконечные переломы прекратились и его даже брали на переподготовку на пару месяцев в армию.

Когда я проснулась после наркоза, увидела, что рядом со мной, на стульях, спит женщина в белом халате. Родителей в отделение не пускали, поэтому мама наняла хорошую медсестру, чтобы она ухаживала за мной после операции. Я не знала, куда деваться от чувства неловкости: сплю на кровати, а взрослая женщина скорчилась на жестких стульях. Вообще, по моим наблюдениям, несуразностей в больничной жизни было множество. После первого обхода, спустя несколько дней, профессор Никифорова, которая делала мне операцию, очень странно отвечала на мои вопросы.

– Когда я буду ходить? – любопытствовала я.

– Очень скоро, – убеждала она.

– А когда разрешат подниматься с кровати?

– Придется еще подождать, – улыбалась седая женщина с военной выправкой.

И моя, дурная после наркоза, голова не могла разобраться, как можно начать ходить раньше, чем вставать. Размышляла я недолго, после второго завтрака пришла нянечка – старушка, уютная и добрая, как родная бабушка, – теперь-то я понимаю, что ей было не так уж много лет, – и принесла целый мешок пластмассовых игрушек, которые были немного увечными, как и мы сами. У обезьянки не хватало нижних лап, нянечка нашла в мешке ножки клоуна в красных штанах и приделала их зверушке. Каждой девочке досталась отремонтированная игрушка. Мне дали двух обезьянок, одну, коричневую, почти без изъяна, я назвала Жаконя и очень полюбила, а, засыпая, укладывала на свою подушку. При выписке мне ее разрешили взять домой.

В ТЕПЛОМ ПЕРЕУЛКЕ

В переулке Теплом
сытые вороны
под окном больницы
без конца снуют.

В переулке сонном
озаряют стекла
яркие Жар-птицы –
праздничный салют.

Теремок больничный
выше колокольни,
выше серебристых
звезд на куполах.

Я живу привольно
в городе столичном,
бегаю на быстрых
детских костылях.

Окна палаты выходили на церковь в Теплом переулке, синие купола которой были усеяны золотыми звездами. Девочка с ожогами лежала у окна, в углу палаты потом и меня перевели ко второму окну, рядом, а на другой день в палату вошла медсестра с большой плюшевой собакой в руках. Все думали, что это очередная посылка из Германии для Тани беленькой, но медсестра шла напрямиком ко мне. Я была счастлива: собаку прислал мой старший брат Толик, а на ошейнике висела шоколадка «Сказки Пушкина»...

Салют на Девятое мая я смотрела через окно, рядом с которым лежала, а спустя несколько дней заговорили о моей выписке. Уже был готов маленький протез, и я начинала на нем ходить, пока с помощью костыля. Ампутацию и протез делали так старательно, что я очень быстро привыкла к протезу и не испытывала решительно никаких болей.

Выписали меня майским солнечным днем. На мне было всё новенькое: плащ-палатка, желтенькое ситцевое, синяя кофточка, бежевый плащик с круглым воротничком. Встречали меня все родные: тетя Сима, дядя Володя и отец, приехавший в командировку. Брат Борис, который выписался чуть раньше, протягивал мне букет тюльпанов и сирени.

Рядом поддерживала меня мама. Есть фотографии в фотоальбоме, есть вечные снимки памяти, которые возникают перед глазами моментально, стоит лишь пожелать. Все улыбаются, все молоды... Снимок живет, но все, кто на нем запечатлены, давно в другом мире, осталась только я.

Москва магнитом сердце манит.
Республик разорен Союз,
зовут родные россияне –
и я в дорогу соберусь.

Пусть акает и окликает
неугомонная листва.
Без сердца жить не привыкают,
а сердце русское – Москва.

Где родилась, там пригодилась,
но грезится упорно мне:
страна срослась, соединилась,
слилась, как реки по весне.

И веет даль не духом светским,
не банды подступают к нам:
в стране единой, несоветской,
гуляет воля по полям...

Мама, Москва и дорогие супруги Горячевы подарили мне вторую жизнь. Начинать учиться ходить заново непросто, но я об этом не задумывалась до тех пор, пока дети не пояснили: «Играть не будем, ты не можешь бегать». Впервые это случилось еще в Москве, я закрылась в туалете и навзрыд плакала. Ольга – дочка тети Симы – стучала, но я долго ей не открывала. Осознать, что у меня нет ноги, оказалось легко, особенно пока лежала в больнице, но понять, почему сверстники не принимают меня в свой круг, долго не могла...

В конце мая мы на поезде уезжали из Москвы, везли с собой подарки и гостинцы родным: лимонные мармеладные дольки в круглых коробках, зефир в шоколаде, бананы и даже ананас. В сумочке с бабочками лежали адреса девчонок из нашей палаты. Острое чувство новизны не покидало меня: новенькие туфельки, протез, пахнущий свежим лаком, деревом и кожей, весенний яркий горячий день, сверкающий недавно распутившейся умытой листвой, поезд, который уютно пыхтел, гудел и торопился домой!

ЗВЕЗДА МОЛОДАЯ

Первые шаги на протезе с помощью костылей на асфальте квартального сада помнятся отчетливо. Спешила от одного «круга» к другому, до углового дома и обратно. Вскоре один костыль отбросила и пыталась бегать, получалось скверно, догнать никого не могла, постоянно падала, но если раньше у меня вечно страдали колени, теперь расшибала почему-то локти. Подружки квартальные встретили меня радостно, и, несмотря на бесконечные падения, жизнь казалась солнечной и по-прежнему беспечной. Нога не болела, голова не кружилась, только почему-то в середине дня мне хотелось спать (последствия облучения будут сказываться вплоть до десятого класса), иногда из носа текла кровь, но это не мешало мне, запинаясь, лететь вперед.

Летом пришли девочки из класса, подарили кукольную посуду из зеленой пластмассы, а я им давала поиграть с московскими куклами. Приходили они «подтянуть» меня по учебе, по заданию Лидии Ивановны, ведь я пропустила три четверти третьего класса. Занимались мы мало, зато охотно играли в куклы. Каким-то образом меня все-таки перевели в четвертый класс.

Поначалу я радовалась, ведь я осталась в своем любимом классе, и пока многое зависело от моей первой учительницы, мне жилось неплохо. В звездочке меня назначили санитаркой, мама сшила белую повязку с красным крестиком и такую же белую сумочку через плечо. К заданиям в звездочке подходили со всей октябрятской строгостью, меня решили проэкзаменовать, вопросы задавали простейшие, но я терялась, мекала и ничего толком не могла рассказать, с трудом Лидия Ивановна вытянула из меня ответ на вопрос: «Как же остановить кровотечение из носа?» У меня самой останавливали кровь день назад, но я объясняла маловразумительно.

Санитаркой была до конца четвертого класса, но мучительное чувство своей никчемности грызло меня постоянно, оно было тем острее, что в будущем себя представляла только хирургом, никак не меньше. Лечить удавалось только кукол.

Зимой мы гуляли со старшей сестрой по аллеям сада, она учила меня обходиться без костылей. По снегу брести было тяжело, но я держала Клару за

локоть – и мы понемногу продвигались вперед. Над нами висело морозное тускловатое небо, сестра показала мне созвездие Большой Медведицы. И сейчас вижу сугробы, пасмурный зимний сад, и мы одни среди голых, угрюмых деревьев. Внизу, под нависшими над тропой ветками, тревожно, как в сказке. Звездное небо над головой, чуть задымленное, городское, не угрожало, не пугало, наоборот, хотелось взлететь туда, ближе к светилам. Сестра рассказывала о созвездиях, и хотелось идти по тропе между сугробами долго-долго... Может быть, если бы не эти прогулки, я бы никогда не ощутила какого-то особого родства со звездным небом.

Я хлебом питалась колючим и черным
и в комнате тесной жила.
Звезда разгоралась на небе просторном,
как плод золотистый кругла.

В этом стихотворении моей юности, конечно, есть художественное преувеличение. Рисовать иную судьбу, ситуации, не похожие на мое бытие, в ту пору очень любила. Комната моя, и правда, небольшая, но уютная, ничуть не напоминала нищий приют, и кушала я частенько сдобные булочки. Но в эти годы мои личные события, неудачи на романтическом фронте, встречи-расставания возводились в ранг трагедии, и в то же время маялась ощущением, что я человек без судьбы. Но звезды, вернее, одна, светившая рядом с Большой Медведицей, тревожили меня неустанно, еженощно. Почему? Кто ж меня знает? Похоже, еще в детстве я подспудно ощущала, что душа моя откуда-то издалека, из глубин пространства.

Потом, когда я была уже замужем и жила в Экибастузе, ко мне в сознание неожиданно прилетело стихотворение, которое не отпускало всю ночь. Успокоилась только когда записала готовое стихотворение в тетрадь до последней его вещи строфы:

Одна звезда, как хрупкая слюда,
но так тверда ее земная сила:
лучом спокойно душу подкосила –
и обожгла тревогой навсегда.

Чувство, что за мной кто-то присматривает с небес, остро тревожило после тех прогулок по вечернему саду, оно было несказанным, ничем не мотивированным, но я часто замирала у незанавешенного окна. Что это было? Транс? Гипноз? Не знаю, но образ звезды «держал» частенько выдуманные, как бы нарисованные в воображении стихи юности. То являлась царская невеста, то дворник, слушающий неведомую птицу. Но если вспыхивала звезда, то настоящая, поскольку я жила под постоянным взглядом сияющего неба.

Я не знаю, зачем зажжена
надо мною звезда молодая...
Неба синяя хлябь не нужна:
поля клевера сердцу хватает.

Зазывает возня муравьев,
запах меда томительно вязкий...
Но звезды надо мной – острие
и высокого неба окраска:
боль зеленого, синего жар –
беспокойный, спасительный дар!

МУШКЕТЕРЫ И МИЛЕДИ

Летом 1963-го мы переехали на другой квартал, расположенный через дорогу, на улицу Стаханова. В соседнем подъезде жила Лена Яценко, с которой мы когда-то играли в песочнице около нашего прежнего дома на Бажова. Детей в новом дворе бегало множество, и вскоре я перезнакомилась со всеми. Из подвижных игр меня за хромоту не исключали. Уже довольно быстро передвигалась без костылей и тросточки. Едва выучив уроки, пропадала во дворе до позднего вечера. В прятки, волейбол, «девицу воровать» играли всем двором.

А вечером собирались всем гуртом в большой беседке под высоким тополем. Тут уж верховодили кто постарше, поязыкастее: Витька Карев рассказывал страшные истории, Борька Зэйда, его верный товарищ, травил анекдоты, им вторил Юрка Махров. Когда в беседке собирались одни девчонки, пели дворовые песни, играли в «Глухой телефон», в «Садовника».

Чаще всего мы играли втроем: Лена, Римма Щетинина – высокая худющая скрипачка из Ленкиной музыкальной школы, и я. Лена читала так много, что мы с Риммой не могли за ней угнаться, она читала каждую свободную минутку. Очарованные «Тремя мушкетерами», затевали игры-спектакли: Лена и Римма были мушкетерами, поскольку они носили одинаковые клетчатые плащи, похожие на мушкетерские накидки, а мне доставалась роль Миледи, так как я ходила в бежевом аккуратном московском пыльнике с круглым воротничком, отделанным бело-коричневой тесьмой. Подвигов мушкетеры не совершали, разве что ходили за наш дом, где росла буйно цветущая, пахнущая медом трава, и приносили мне букеты с белыми пушистыми соцветиями, а я изображала неприступную даму, прогоняла кавалеров прочь, а сама удалялась горделиво в «замок» – нашу дворовую беседку.

Зимой, а зимы середины шестидесятых выдались снежными, мы играли в партизан и ползали по высоченным сугробам вокруг дома, строили снежные крепости, всем скопом заливали посреди двора каток и возводили горки. До самой темноты я вечно пропадала на улице. Вечером читала книги и слушала, как вверху пиликала на скрипке Римма, иногда мы ходили в гости друг к другу. Лена играла на баяне, иногда угощала чем-нибудь вкусеньким. Жили соседи скромно, не бедно, но достаток был средний, и макароны по-флотски были очень даже изысканным блюдом.

Соседи жили друг с другом в те годы иначе, щедрее и открытей.

Нарезали хозяйки тазы винегрета,
и была для соседей распахнута дверь:
по двору разлетались мгновенно секреты.
Все сердца затворились теперь.

Идиллии не получалось: рядом стояли дома барачного типа, в них селились люди неустроенные, частенько разгульные, драчливые.

Смех и ругань неслись из окошек барака.
Пьянь да рвань, да еще нищета.
Разудалая жизнь вырывалась из мрака –
и шаталась полночи в кустах.

«Солнцедар» всем барачком неделями пили,
под хмельком поучали детей.
Годы детства поспешно от нас отступили –
и бараки снесенные стали милей.

В наших домах, алтайэнергоовских, чистеньких и ухоженных, с палисадниками под окнами, с беседками, увитыми хмелем, жили в основном инженерно-технические работники и служащие. Безумных драк и скандалов почти не случалось, разве что нервная Татьяна Матвеевна, не выдержав громкого хохота и визга ребятни, выглянет из окошка и раскричится что есть мочи на весь двор. По словам моей мамы, во время войны эта женщина работала шофером, и во время бомбежки чуть не ушла под лед вместе с грузовиком. В мирные годы много лет трудилась в соседнем ателье и слыла мастерицей портить самые простые наряды, сама не ведала радости и вокруг вздымала волны недовольства и раздражения. За могильную тишину под своими окнами она воевала с детьми и их родителями до потери облика, до безобразных истерик.

Напротив нашего нынешнего дома по улице Краснознаменной находились корпуса психиатрической лечебницы.

Поблизости гремела медь парадов,
взлетали в небо яркие шары...
И сумасшедший дом через ограду
смотрел на игры местной детворы.

Играла полоумная гармошка –
катилось «Яблочко» по улице родной.
И в майский день в распахнутом окошке
качалось солнце птицей озорной.

Гремела медь, и улица плясала,
порхал полупрозрачный крепжоржет...
И пирожками сладкими дышала
любая дверь на нашем этаже.

На первое мая и на седьмое ноября отец приносил с работы большие цветные шары, наполненные водородом – и праздник начинался. Мы надевали лучшие наряды и шли на парад: после операции я уже не могла идти дружным и резвым шагом, не попевала за всеми, но вместе с мамой мы в праздничный день торопились к «Алтайэнерго», где с раннего утра гремел духовой оркестр. Сотрудники

собирались в колонны, запевали бодрые песни и шагали по городу, украшенному яркими транспарантами.

Мы с мамой возвращались домой накрывать стол. В это время я уже не очень-то любила праздные дни: часто чувствовала свою ненужность, нежелательность в разных компаниях. В классе ко мне относились настороженно и отчужденно, дети не принимали даже в те игры, где не требовалось быстро бегать. К пятому классу порой думала, что меня не любят за полноту, неуклюжесть и хромоту. Комплексы росли как на дрожжах, и я уже ненавидела собственное неловкое тело. Ненавидела долгую дорогу в школу вдоль улицы Бажова, мимо длинного зеленого забора. Чаще всего шла одна. Ни разу не взбунтовалась, не пожаловалась маме, но чем дальше, тем больше мне не хотелось идти в школу и видеть недружелюбные лица, а я почему-то молчала...

ПЕРВЫЙ РОМАН

В пятом классе мы расстались с Лидией Ивановной, пришли новые преподаватели. Классным руководителем стала учительница по литературе Татьяна Васильевна. Это она дала мне возможность почувствовать свои сильные стороны.

Когда вызывали к доске, я робела необычайно, язык становился тяжелым и едва ворочался, и выученный урок не могла толком ответить. Троек в моем дневнике появилось море. Из хорошистов попала разом в разряд слабеньких учеников. Но Татьяна Васильевна почувствовала или заметила нечаянно во мне нечто далеко не серенькое и однажды разрешила отвечать с места. Нужно было пересказать близко к тексту отрывок из классической литературы.

Автора прозы забыла, но до сих пор щекочет сердце эмоциональный взлет, который помог ощутить особенный, трепетный текст и запечатлеть его в сознании на многие годы. Герои, девочка и мальчик, останавливались около цветущего дерева и срывали душистые ветки черемухи и сирени, я пребывала как бы внутри того мальчика, который рвал цветы. Я так же задыхалась от запаха медового, от восторга, когда пересказывала этот волшебный отрывок. Татьяна Васильевна похвалила, улыбнулась и поставила пять. К следующему уроку с радостью выучила другой отрывок, учительница снова спросила меня, и я так же хорошо ответила, и опять получила желанную пятерку. Было такое ощущение, что все в классе заметили мое преображение...

Так или иначе, но изменилась я сама, поверила, что, если постараюсь, чудесные превращения непременно произойдут. Главное, что пересказанные отрывки открыли завесу над волшебством русского слова, и, очевидно, это подтолкнуло меня к попыткам написать что-нибудь самой. До сих пор среди нужных и пустяковых бумаг хранится зеленоватый блокнот с перекидными страницами, в нем «роман» «Наташа». Написала и твердо решила, что стану писателем. Что я могла знать, понимать в ту пору? Писала лихорадочно, сбивчиво, но бурное воображение помогало мне видеть отчетливо детали чужой жизни, я словно участвовала в спектакле и исполняла главную роль.

Сюжет «романа», примитивный и житейский, смахивал на нынешние сериалы: дружба-любовь, которую разбивает некто третий, непонятная реакция героини на письмо бывшего товарища, заподозрившего охлаждение любимой. А героиню

несло по волнам невнятных переживаний, выраженных с достойной для двенадцатилетней девочки простотой.

Наивно, нравоучительно, смешно, но все девочки-подростки ждут-не дождутся, когда же придет взрослая жизнь и можно будет влюбиться по-настоящему, так композитор тоскует по еще не написанной музыке, так поэт бормочет строки еще несуществующей поэмы, так художник ясно, до подробностей, видит чудный облик на картине, которой еще нет... Но самые внятные, теплые фразы повествования связаны не с увлечениями Наташи, а с щенком по имени Рекс, с дождливой погодой. Ближе к финалу умирает мать героини, – к тому времени я испытала непрдуманную боль утраты, умер старший брат. Завершить «роман» по всем правилам не хватило бумаги, да и опыта писательского и человеческого не было еще и в помине.

Получилось так, что решение стать писателем всю жизнь не отпускало, даже когда мне казалось, что с творчеством покончено. Иллюзия свободы от этого решения иногда могла длиться года два, но происходил очередной перелом, и всё мое оставалось при мне, а случайное улетало половой по ветру.

Читала к тому времени не только сказки. Романы о любви, не совсем по возрасту, потихоньку проникли в мой уже не очень детский мир. Сердце мое встрепенулось от первой влюбленности, когда казалось, что мальчик лет шестнадцати прекраснее принца и просто невозможно сидеть с ним рядом, так жарко вспыхивают и без того алые щеки, а сердце только при его приближении начинает скакать как сумасшедшее. Встретила этого мальчика на протезном заводе, в Семипалатинске, звали его Володей (это имя рефреном пройдет в моей судьбе, повтор имени принесет повтор подобных ситуаций, неизвестно почему эта случайность будет в моей жизни закономерностью).

Помнится, Володя приехал из Талды-Кургана (этот город тоже неоднократно сыграет странную роль в судьбе). Ярко выраженная восточная внешность: крупные темные глаза, опущенные черными длинными ресницами, от их взгляда сердце мое замирало и падало, густые, сходящиеся на переносице брови придавали лицу некую суровость, мужественность, прямой нос, красиво очерченные яркие губы смущали мою душу. Я подглядывала за ним из-за занавески, когда он шел по двору протезного завода, и навсегда мне врезалась в память его уверенная, хотя и прихрамывающая, походка. Рубашка с коротким рукавом в крупную черно-зеленую клетку казалась просто чудесной.

Помню, переживала тогда, что стала неуклюжей и самое нарядное креповое платье, перешитое из мамино, недавно катастрофически порвалось... Мои страдания были сродни чувствам влюбленного Пьера Безухова. «Если бы я была не я, а прекрасная, совсем другая девочка!...»

Однажды мы сидели с Володей под единственным во дворе деревом и играли в шахматы, он улыбался и, судя по всему, наконец заметил мои восторженно-тревожные взгляды, я делала непрдуманные глупые ходы, он посмеивался, пошучивал. Сражаться с такой «шахматисткой», наверно, так себе, но он сыграл со мной несколько партий, и разошлись только тогда, когда нас позвали ужинать.

На другой день мы играли во дворе в волейбол, с нами вместе перекидывал мяч светловолосый парнишка лет четырнадцати и постоянно старался обратить на себя внимание, он делал это так усердно и навязчиво, что я, сказав ему что-то обидное, ушла в палату. А еще в это лето я узнала горечь самой настоящей

ревности. Однажды к Володе пришла в гости красивая, яркая, темноволосая и кареглазая девушка его лет. Я затаилась в палате и плакала. Много позже узнала, что девушка приходилась Володе родной сестрой, а Володя перед отъездом просил у мамы наш адрес, но строгая мама сказала, что нам переписываться рано. Может быть, но весь последующий год на скучных уроках образ мальчика в клетчатой рубашке стоял перед глазами. Больше я его никогда не встретила, хотя ездила в Семипалатинск порой два раза в год (росла быстро, прежний протез становился короток и, хочешь не хочешь, приходилось ехать).

Жаль, до сих пор жаль, что так оборвалась ниточка первой влюбленности. Мои первые стихи были о нем. Писала на промокашках, на клочках бумаги и, чувствуя, что стихи смешные, неловкие, неумелые, не берегла эти небрежно накарябанные строки, а порой, рассердившись на себя, рвала их в клочья.

«Минуту назад я написала новое стихотворение. Оно у меня получилось мокрое, как дождик, о котором я писала. А в смысле содержания и рифмы, по моему, получилось неважно, но всё же оно мокрое и поэтому пока нравится» (04.08.1967. Дневник).

Как бы то ни было, мимолетное чувство, исчезнув, осталось навсегда в глубине души. Сердце всякий раз радостно откликается на мельчайшие детали растаявшей влюбленности, словно я могу вновь вернуться в Семипалатинск, в 1966 год, в уютный дворик протезного завода. Вновь отчетливо вижу смуглое лицо, шахматную доску на столике под ясенем, слышу наш смех, даже запах жухлых листьев августа чувствую... Его умные, темные, одновременно жаркие и нежные глаза, подобно звездам, сияют в моей памяти.

Уже три года я хромала среди своих сверстников, но по-прежнему цветные стеклышки позванивали в трубке калейдоскопа и складывались в яркие узоры, можно было подуть в детскую свирель – и всё вокруг преобразалось.

Подую в детскую скрипучую свирель:
– Пой, дудочка, пускай продлится чудо!
Из холода проклюнется апрель,
и май метнется синью незабудок.

Пой, дудочка!
Дыханием души
согреты сказки яркие страницы.
Пой, дудочка! Пусть ветерок шуршит
и чудо жизни бесконечно длится.

Из дудочки, из разноцветных снов,
летит по свету перышко сквозное.
Оно щекочет – и душе смешно...
А дудочка о детстве снова поет.

Мы все ещё часто собирались за столом вшестером: родители, еще молодые и веселые, красивые, мы с Борькой, Клара, которая наездами бывала дома, и Толик, который появлялся только на каникулах, он учился в Павлодаре в Индустриальном институте. Папа выпивал нечасто, и на другой день он старался всячески загладить

вину: то добровольно мыл полы во всей квартире, то принимался готовить вкусный ужин (в доме все до единого хорошо готовили) и называл маму только Лизонькой. Проходило время, но скандалы по поводу отцовской пьянки повторялись.

Борис принялся за прежнее: убегал из дома, курил анашу, знался с настоящими наркоманами и бандитами. Отец тем временем, выбившись в начальники, всё меньше обращал внимания на что-либо кроме служебной и партийной карьеры и вечно пропадал то на работе, то на собраниях, то на заседаниях, возвращался затемно и в лучшем случае под хмельком... С Борисом он никогда по душам не разговаривал, хотя, когда Борька был маленьким, любил его больше всех детей, а тот долго считал, что родил его и кормил грудью папа, и лет в восемь мечтал:

– Когда я вырасту, буду жить с папкой в двухкомнатной квартире: в одной мы пить станем, а в другой – бутылки складывать.

Лет с двенадцати Борька состоял на учете в детской комнате милиции. Когда он не приходил ночевать, мама одна шла искать сыночка по ночному городу – и вытаскивала его из притонов, из милиции, а он, дурья голова, снова лез в грязь, словно там медом намазано.

Мама не раз ему говорила:

– Ты как свинья – сулишься никогда г...но не есть, отойдешь за угол, а там – горяченькое!

Борька после очередного загула клялся-божился, что исправится, и мама довольно долго верила в его обещания, поскольку повиниться, подластиться он был, как, впрочем, и отец, великий мастер, его хорошенькое в ту пору личико излучало раскаяние и любовь. Проходило несколько дней, и загулы повторялись опять. Он жил дома, сытый-одетый, и с жиру бесился. Толик тем временем перебивался в Павлодаре с копейки на копейку и частенько голодал, но никого своими заботами не тревожил. Ему было совестно, в отличие от Бориса, который всегда помнил личную выгоду и о себе любимом заботился всю жизнь, умел присосаться, пристроиться, а там хоть трава не расти, за это знакомые шалопаи прозвали его Бухгалтером.

ТОЛИК

Старший брат Толик приезжал на летних каникулах, и тогда даже Борис на время брался за ум и реже мотался по своим темным делишкам, и дома не смолкали шутки и смех. Толик пел смешные, немного хулиганские песенки, мы хохотали, а он не унимался, читал стишки про кукурузного царя Никиту.

Маму Толик любил самозабвенно и всё искал девушку, похожую на неё, но не нашел. Он первым бросался на защиту мамы. После моей ампутации родители жили уже скверно: шумно ссорились, мирились, иногда случались драки. В этот приезд как раз случился такой безобразный скандал, и когда отец поднял на маму руку, Толик кинулся к нему, хорошенько врезал и пообещал:

– Еще раз тронешь маму – убью!

Отец притух и ретировался в другую комнату, а на следующий день, по собственному почину, драил полы во всех комнатах и просил прощенья у Лизоньки. Бура утихла, и какое-то время мы жили спокойно...

Однажды Толя застукал нас с Ленкой за чтением Мопассана, которого мы ловко прикрывали «Таджикскими сказками», но брат разглядел наши маневры,

разоблачил, отодвинув сказки в сторону. Не стал нам читать долгие нотации, только, улыбаясь, спросил:

– А что, если я маме расскажу? Не стыдно?

Мопассана мы читали очень выборочно, самые откровенные интимные сцены, было жутко интересно, что делают взрослые парочки за закрытой дверью. Надо сказать, это несвоевременное чтение пикантных сцен надолго отвратило меня от Мопассана. Прочитать практически всё собрание сочинений я смогла только после окончания института, и оказалось, что интимная жизнь, любовь у Мопассана описана правдиво, прекрасно, мудро, а совсем не пакостно и пошло, как мне показалось в детстве.

Мы с Ленкой напрасно боялись разоблачения, Толик ничего не сказал маме, это мы поняли, когда он уехал на учебу. Больше нас к Мопассану не тянуло.

Незадолго до дня рождения, в феврале 1965-го, из Павлодара приехал неожиданно Толик. Лицо у него было опухшим, обожженным: на предприятии, где он подрабатывал, случилась авария – и пострадал мой брат. Оказалось, что это не главная беда, у Толика уже больше года развивался нефрит, ожог ускорил отравление почек. В шестидесятые такой диагноз равнялся смертному приговору, пересадок органов тогда еще не делали.

«Сегодня почувствовал себя плохо, так что не знаю, что будет со мной дальше. Как хочется, чтобы всё обошлось благополучно, т.е. чтобы дотянуть хотя бы до лета.

Трудно сознавать, что всё так быстро кончается. В это время, когда все живут, радуются, на что-то надеются, о чем-то мечтают. Уже поздно обо всем этом думать, остается только ждать, ждать того, что никто не минует в своей жизни... Конечно, хотелось бы, чтобы это было не так скоро, хотелось бы сделать кое-что на этом свете, ведь я так мало еще жил, так мало видел в своей жизни» (21.04.64. Дневник Толика).

Невыносимо в 20 лет оказаться наедине со смертным приговором врачей, но Толик скрывал его от всех домашних, не искал утешения, облегчения участи, его тревожило, что всей семье придется перенести горе – поэтому никому из близких не сообщает о своей беде.

«Да, ничего не скажешь, плохи дела, но меня волнует не свое здоровье, а то, что родным тяжело будет перенести еще и это, ведь им и так досталось от жизни более чем достаточно, а обо мне разговор короткий. Черт возьми, как всей семье не везет. Но почему всё так гадко получается? На этот вопрос я так и не смогу никогда ответить, да и вряд ли кто сможет это сделать когда-либо вообще.

Единственный человек, за которого я вполне доволен – это Клара, хорошо, что они живут в мире, согласии и любви, хорошо, что растет у них сын, который должен быть счастлив, иначе быть не должно, иначе я не мыслю» (25.04.64).

Человека, подобного моему брату, я не встретила за всю жизнь, хотя хороших людей, интересных, творческих рядом со мной всегда много, но такой светлой, доброй, щедрой, любящей души узнать больше не довелось. Почти непостижимо, что, зная о скорой смерти, брат не рычит от боли душевной, не жалеет себя, он тревожится за родных.

«Как бы это внушить Борьке, что ему надо жить не так, как он до этого жил, иначе будет жалеть он потом, ой как жалеть, но будет поздно, тогда

уже ничего не вернешь, ничего не изменишь. Почему он такой болван? Болван не по уму, а по своим действиям».

От уныния Толика спасала постоянная занятость. Чтобы дотянуть до стипендии, он брался за небольшую плату выполнять сложнейшие чертежи, а делал он их мастерски, и, как ни странно, среди записей о том, как ухудшается здоровье, вдруг возникают ясные бодрые строки.

«Сейчас какое-то особенно приподнятое рабочее настроение. За работой об всем забываю, и сейчас хочется работать и работать. Сегодня после чертежей по инерции отремонтировал два приемника: свой и Толика Посвита. Приятное ощущение, когда что-то сделаешь, после этого хочется еще больше работать и, чем труднее проделана работа, тем приятнее самому» (27.04.1964).

Борис потратил свою жизнь на любовь к самому себе, неоднократно предавал тех, кто его же и спасал, жалел, помогал: друзей, сына, маму. А Толик постоянно боялся обременить, затруднить своих близких:

«Не хочется писать домой, пусть уж они пока ни о чем не подозревают, пусть думают, что всё у меня в порядке. Им и без меня хватает дел дома» (27.04.64).

В это время я отправила ему детское смешное письмо, и оно сохранилось между страниц дневника брата.

«Здравствуй, Толяма! Сейчас я была на улице, делали горку, пришла и решила написать тебе. У нас всё хорошо, гостит две недели Алешка. Борька работает, но не учится. Вчера у нас весь день снег летел, не переставая, как в пургу. Клара приехала, хоть мы думали, что не приедет, потому что ходило мало машин и могла случиться авария. Четверть закончила плохо, целых пять троек. Больше писать не о чем. Жду ответа. Люлька (так меня называли домашние)».

Борис и Клара из-за этих самых троек считали меня тупой и часто подсмеивались над моими «успехами» в школе, хотя не думаю, что сами выбились бы в отличники, пропустив целый учебный год. Только мама и Толик понимали мои настоящие и грядущие трудности, старший брат часто думал обо мне, догадывался о моих печалях, хотя я ему ни на что не жаловалась.

«Как там живет Любочка, трудно ей очень, а когда повзрослеет, будет еще труднее. Хотелось бы сделать для нее что-то такое, что бы облегчило ее жизнь, чем-то ей помочь. Но что я могу сделать для неё, какую ей помощь оказать, даже не знаю».

Он не знал, что я прочитаю эту запись в дневнике и мне это поможет, прежде всего, понять, что даже на краю жизни, в самой тяжелой ситуации важнее всего оставаться человеком, и это возможно, пример тому – мой брат, если ты любишь друзей и близких. Всю жизнь потом я сверяла свою судьбу с ним, с его воображаемыми ответами на мои вопросы, и всегда, до сих пор, мне не хватает рядом именно его, доброго, родного, понимающего. Знаю точно, мы с ним стали бы непременно друзьями, он ходил бы со мной в кино и на танцы, и, думаю, непременно в юности сказал бы, что я не толстая уродина, а вполне симпатичная девушка, а моим обидчикам от него досталось бы по первое число. Конечно, рядом с ним я стала бы счастливее, особенно в пору взросления. Хорошо помню его теплый взгляд, помню, как здорово жилось нам вчетвером, как весело мы смеялись, до боли в животе, над его шутками. Мне повезло: детская, а потом и вполне зрелая судьба освещалась памятью, что у меня был удивительно добрый, замечательный старший брат.

Никто не верил, что такой красивый, высоченный, веселый парень обречен. Вскоре Анатолия положили в больницу, из неё брат уже не вышел. О том, какой страшный диагноз поставили врачи, он знал еще год назад, писал об этом в дневнике, который просил маму, не читая, уничтожить, но дневник остался... Толик писал его последние месяцы жизни. Прежде я перечитывала дневник брата и рыдала в голос, и лишь теперь, спустя полвека после его смерти, могу осмыслить печальные страницы.

Старший брат умер в мае. Перед кончиной он уговаривал маму:

– Ты у меня самая красивая и еще молодая, не плачь обо мне, не убивайся, тебе еще долго жить, и ты нужна Любе, непутевому Борьке... Они без тебя пропадут.

В день похорон стояла невыносимая жара. Всю дорогу до Примыкания сквозь слезы и задушенные рыдания приходили странные отрывочные мысли: не может быть, что моего любимого брата никогда не будет, не может быть, что даже частички его (я тогда ничего не знала о душе) не останется в этом мире, где буйно в эту весну цвела сирень. Духовой оркестр играл рвущий сердце похоронный марш, все поочередно прощались с Толиком. Мама кричала, страшно, отчаянно, я задыхалась от непролитых слез.

В те годы обязательно фотографировали все этапы похорон, этих фотографий оказалось больше, чем прижизненных снимков Анатолия. Похоронные фото я пересматривала только дважды. Пристально смотреть в глаза смерти никому не советую: в сознании тотчас возникает крепко запертая черная дверь, а дальше – провал. Но любимые люди живы, и они с нами, пока мы в состоянии помнить о них и говорить. Помогают видеть прошлое светло только прижизненные снимки, а на них брат всегда улыбался. Разница в возрасте у нас большая, поэтому осталось больше воспоминаний о непутевом брате Борисе, но всё же, всё же, спустя полвека я часто думаю о своем старшем брате с нежностью и глубокой печалью.

После похорон мама ходила черная как тень, смолкли частушки, шутки, вечные поговорки на любой случай жизни. Мама осунулась, похудела, чуть не сошла с ума от горя, домашним хозяйством и дачей занималась машинально и, когда мы к ней обращались с вопросами, она порой недоуменно смотрела и спрашивала: «Ты кто?» Я думала, что она шутит, но громада горя действительно чуть не сломила мамин сильный и ясный рассудок.

Я почему-то часто думала о том, как бы сложилась жизнь нашей семьи, если бы старший брат не умер так рано. Моя судьба точно оказалась бы иной. Мне он казался с малых лет самым красивым, самым добрым, умным и сильным, словом, лучшим из всей нашей четверки.

ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ

Старшая сестра вышла замуж за Калинина Евгения Викторовича, родился Алеша, у неё началась взрослая жизнь вдали от родного дома, к этому времени она закончила местный пединститут и преподавала физику в Предгорном, а потом в Глубоком, куда я несколько раз ездила на каникулах, первый раз весной шестьдесят четвертого. Алеша был еще совсем маленьким, и молодая семья жила у родителей Евгения: пышной, немного манерной Марии Ивановны и щупленького веселого Виктора Михайловича...

Дом, двухэтажный, в три подъезда, построенный в начале пятидесятых, стоял в своеобразной котловине. Проезжая дорога шла рядом, но где-то на уровне крыши дома, – мне это напоминало московские двухъярусные улицы, – поэтому подле дома всегда весной стояли большие лужи, обходили их по каким-то шатким доскам.

Алеше шел третий месяц, он много плакал, сосал грудь и спал, играть с ним пока было невозможно. Правда, несколько раз я подержала черноволосого длинненького младенчика на руках, что мне очень понравилось. Клара, по-моему, сердилась на меня – бестолковую няньку – но мне прежде не приходилось даже на минутку оставаться с крохотными детьми.

Я старалась улизнуть на улицу, в незнакомый мне двор, где меня хорошо приняли все дети, и мы всей кампанией ходили полазить по ближним невысоким горкам. Имена растаяли за давностью лет, лица вижу как в тумане. Но в этом дворе мне было по-настоящему хорошо и весело, я не чувствовала себя лишней.

Надолго я подружилась с девочкой из соседнего дома, Наташей. Сердце мое замерло, когда я увидела ее впервые: пышные, густые, светлые от природы волосы, огромные серо-голубые глаза! «Вот в кого должны влюбляться юноши», – подумала я, и героиню своего первого «романа» назвала Наташей. Многие черты моего персонажа, конечно, в силу моего детского разума, списаны именно с неё. И герой моего романа, конечно, в пору только такой красавице. Конечно, и я бы от такого не отказалась, но уже понимала, что мальчики смотрят восторженно на красивые ножки, на идеальную фигуру, а над толстой хромой коровой только смеются, посему ретировалась, и всё, что есть чудесного на белом свете, готова была отдать достойной девочке. У нас завязалась переписка, и несколько лет письма от Наташи были самыми желанными. С ней я делилась девичьими секретами, она приезжала ко мне в гости, да и я навещала ее всякий раз, когда приезжала к сестре.

Разница в возрасте мешала нам с сестрой сблизиться по-настоящему: взрослая, очень красивая девушка, за которой бегали многие парни, страстная, порывистая, яркая, многие модели могли позавидовать ее стройной фигурке, и я, малоподвижная, круглолицая и узкоглазая, как японка, с множеством комплексов робкая девочка двенадцати лет, вряд ли могли хорошо понимать друг друга. Но однажды вечером, когда малыш спал, мы пошли погулять с Кларой. Выбрались из двора, похожего на большую ямину, и присели на какие-то бревна, и сестра долго, обняв меня за плечи, говорила со мной. О чём, не помню, но осталось теплое чувство родственной близости и гордости, что это у меня такая взрослая и красивая сестра. Смешное детское тщеславие... Но в моей маленькой, но уже изломанной судьбе случилось не так много светлых деньков, поэтому наши короткие посиделки на бревнах под первыми весенними звездами я хранила в глубине сердца всегда...

СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ

Поздней осенью сломался протез, и пришлось ехать в Семипалатинск. Поплыли на теплоходе, который отчаливал уже затемно. Опять воспоминания, как стеклышки калейдоскопа, крутанешь – и отчетливо ощущаешь покрытые инеем металлические ограждения на борту теплохода, осенний промозглый вечер. На пути в Семипалатинск ничего особенного не случилось, доплыли без происше-

ствий. На протезном находились недолго, но не обошлось без страшилок. Женские палаты размещались тогда в полуподвальном помещении бывшего купеческого дома, а мастерские там же, чуть дальше по коридору. Когда мы выходили вечером в туалет, кругом вдоль стен видели протезы рук и ног, которые в полутьме меня пугали своей нереальностью.

Палаты, низенькие, тесные, приземистые, с небольшими тусклыми окнами, поздней осенью стояли полупустыми. В нашей комнате самой говорливой и шумной оказалась тетя Вера из-под Курска. Возраст определить не берусь. Сухонькая, небольшого роста, очень подвижная женщина с морщинами на лбу, но с молодыми глазами, часто рассказывала о своем военном детстве: когда ей едва минуло лет девять, она видела поле боя под Курском. Она рассказывала так мастерски, что я, совсем зеленая девчонка, отчетливо представляла страшную битву, поле, усеянное мертвыми солдатами, по которым в бой шли их живые товарищи, и многие падали рядом под пулями за смертью. Потом по полю шли санитарки, жители ближних сел, одни в поисках раненых, другие в поисках еды, солдаты погибали, пайки в вещмешках оставались.

Тете Вере случалось помогать выносить раненых с поля боя. Порой солдаты лежали друг на друге в два-три ряда, и ступить было негде. Но мачеха заставляла Веру вновь и вновь возвращаться на это страшное поле. Сейчас оно у меня перед глазами: серое низкое небо, темные груды тел и хрупкая, как веточка, девочка в серой фуфайке, с белым от страха лицом. Спустя много лет после войны тетя Вера не могла забыть фашистов, которых видела своими глазами, но, слава Богу, они ее не тронули, может, пожалели, ведь она всю жизнь была такой, в чем только душа держится.

Не могла она забыть и мужчину на полустанке без рук и без ног. Как пояснил ей пожилой санитар, везли они его в дом инвалидов для таких вот «чайников» без надежды когда-то встать: культы ног и рук оказались совсем короткими, отрубленные фашистами, а чаще озверелыми бандеровцами, по самое не могу. Эта встреча на полустанке случилась уже после победы. Не помню точно подробностей, но тетя Вера говорила, что отыскала сестру инвалида – и его история закончилась не так печально, как у других солдат с подобной судьбой. Многие не хотели обременять своих родных и оставались в приютах до конца, а матери и жены ждали, молились и страдали, ведь, когда умирает любимый, кажется, что ампутировали часть, причем большую, твоего сердца, а как жить с оставшейся малостью, никто не знает.

Страшную войну пережила тетя Вера, пули пролетели мимо, голод не замучил до смерти, а вот в пятидесятые годы она крепко пострадала. Работала, как многие подростки, на заводе. Чтобы достать до нужных частей станка, Вере подставляли ящик. В тот злополучный день работала в ночную смену, глаза от хронического недосыпания слипались, руки двигались неловко, одно движение – и правую руку почти по локоть затянуло внутрь механизма. Вера не помнила, что было дальше, потеряла сознание. Пришла в себя уже в палате: руку ампутировали выше локтя. Возле больничной кровати сидел седой мастер участка и плакал, а когда заметил, что Вера пришла в себя, заматерился, размазывая по морщинистым щекам слезы. . .

Прошло много лет с тех пор, но мне кажется, если бы встретила однажды тетю Веру, то обязательно узнала бы ее лицо, хотя чем-то особенным та не отличалась. Некрупные черты лица, русые волосы, зачесанные назад, темные глаза, точно

присыпанные пеплом, но затаенный огонек в них все-таки нет-нет да проблескивал – такой она и запомнилась. Так запечатлелась Вера из-под Курска, как ее звали в палате, в моей памяти, хотя годы и мое всегда буйное воображение могли добавить к ее истории и облику некие легендарные детали, но мне видится, что если я и погрешила против истины, то совсем чуть-чуть. Иногда абсолютная истина более лжива, нежели ее художественное отражение. «Лишь то, что запомнилось, было, а всё остальное не в счет» (В. Шустер).

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ТЕПЛОХОДЕ

На протезном мы прожили недели две. Мастер сделал новый, не очень удобный, протез, и опять на теплоходе мы отправились домой.

Мама в конце тридцатых училась в семипалатинском водном техникуме на капитана речного пароходства, там же на связиста учился мой будущий отец. На практике, после второго курса, они плавали на одном пароходе по Иртышу, познакомились и стали жить вместе.

Как непросто управляться с речным судном, мама знала не понаслышке и, когда мы с ней оказались на борту теплохода, спросила развеселого матроса, от которого пахло винцом:

– На мель-то, наверно, не один раз садились?

– Да что вы такое говорите? На Иртыше и мелей-то раз-два и обчелся. Уже десять лет одной командой ходим по реке и ни-ни, да и капитан у нас – орел!

Большая часть пути выпала на холодный вечер и почти ледяную ночь. Среди пассажиров, а их по пальцам перечесть можно, оказалось двое детей: я да еще какой-то мальчик моих лет. Когда уже до города оставалось совсем немного, на теплоход взошел веселый здоровенный дядька с мешком. Вскоре весь теплоход радовался вместе с ним. Жена родила двойню! Он ехал в соседний приречный поселок и вез ей горячий белый хлеб. Отметив с капитаном и командой это событие, он вручил пассажирам несколько высоких поджаристых булок хлеба и сошел на берег, почти бегом поднимаясь в гору.

Близилась ночь, пассажиры поели хлеба с кипятком, нам, ребятишкам, достались еще и конфеты «Красный мак», ничего вкуснее этих шоколадных конфет вприкуску с белым пышным хлебом в жизни не ела, мы так проголодались, что смели все подчистую. Нас укрыли поверх пальтишек брезентом, вскоре мы задремали, взрослые, перешучиваясь укладывались на жестких и неудобных сидениях...

Тут по дну что-то заскрежетало, теплоход дернулся разок, другой – и окончательно сел на мель. Помню непроглядную темноту этой ночи, неизвестность томила, капитан радировал на берег, но до утра мы мерзли, как цуцики, под брезентом. Если бы не кипяток, которым нас пытались хоть немного согреть взрослые, наверно, слегли бы с воспалением легких, а так ничего себе: живехоньки-здоровехоньки дождались рассвета.

Взрослым бакенщик помог добраться до берега и показал, как дойти до поселка, а детей и мою маму переправил в лодке, в утреннем знобком тумане поближе к своему дому и привел нас в свою небольшую низкую избушку, стоявшую у самой воды. Там нас обогрели, напоили чаем с колотым сахаром и покормили вкусным соленым салом. Теснота в домике была невероятная, кроме нас, гостей,

там находились дети бакенщика, его жена, внешнего облика которой я совсем не вижу спустя годы, слишком толстый слой времени, силуэты едва просвечивают.

Помню черный плащ, огромный не по росту, бакенщика, перед глазами сухопарый, среднего роста, прустецкий мужичок, волос не видно из-под капюшона плаща, лицо с грубыми рублеными чертами, хорошая улыбка на губах и трехдневная щетина на щеках. Зачем запечатлеваются образы одних людей, которых мы никогда больше до конца жизни не увидим, а другие люди, стоявшие рядом в полуметре, исчезают внезапно и окончательно, это ведомо лишь Богу.

В доме бакенщика было тепло, но, как и во дворе, воняло свиным пометом. Роскошные, совсем не грязные, толстые и большущие черно-белые Хавроньи ходили по двору и порой заглядывали в дом почухаться о кухонный стол, покрытый потертой клеенкой непонятного цвета. Я зажимала нос, но с удовольствием поглаживала самую смирную пятнистую свинку. День разгорался, солнце светило, понемногу отогревая и оживляя берег. Попрощавшись с радушными хозяевами, мы отправились на автобусную остановку и вскоре добрались домой.

ЛОСКУТОК С ЛАНДЫШАМИ

Речные приключения остались позади, но испытания этого года еще не были исчерпаны. Еще не закончилась первая четверть, а я уже попала в детскую инфекционную больницу с желтухой, так в народе называли болезнь Боткина. Состояние оказалось не тяжелым, но мне совсем не хотелось лежать одной в комнате, ни с кем не общаться, из-за меня весь класс проверяли на наличие заразы, дома всё, что возможно, обработали хлоркой и прочими жидкостями, а я дней сорок провалялась в больнице. Только поначалу побаливала печень, донимала тошнота, зато никаких уроков, и рядом девчонки моего возраста или чуть старше. Мы обменивались друг с другом дворовыми, часто почти уголовными песнями: «Дочь прокурора», «В тихом Лондоне», «Песенка про шута», «Сиреневый туман», и нам нравилась их слезливая задушевность.

Мы дарили на память друг другу лоскутки ткани: креповые, бархатные, ситцевые, поплиновые. В этом обряде скрывалась смешная детская магия передачи частицы красоты от одной подружки другой. Долго в заветной коробке хранился креповый лоскуток зелено-голубого цвета с белыми, нежными ландышами, он тайными нитями связан с Подмосковьем, с березовым чистым и свежим лесом, который укрывал море ландышей в подлеске, как раз напротив дома Горячевых, а когда мы приходили домой с большими упругими букетами, нас встречала скрипучая пластинка.

«Ландыши, ландыши – белый букет!» – пела, слегка гнусавя, Елена Великанова, миловидная, стройная, чуть холодноватая, модная певица тех лет. Честно говоря, она мне всегда казалась немного слащавой, как большой букет ландышей, которыми пахло от многих женщин шестидесятых: духи «Ландыш серебристый» вошли тогда в моду.

В больнице нам делали уколы, заставляли придерживаться диеты: ничего жирного, жареного, острого, кормили непонятными безвкусными супчиками, паровыми котлетками, но зато можно было есть вдоволь сладкое, нам приносили плавленые сырки, сгущенку, печенье, лимонад, и мы с удовольствием всё поедали. Диеты пришлось придерживаться еще долго, но я не печалилась: пила лимонад

и заедала сырками, диету терпела еще и потому, что незадолго до выписки произошёл один печальный и поучительный случай.

Мужчину лет сорока – он поступил желтым как китаец – едва привели в норму, подлечили и спустя положенное время выписали, строго предупредив: ни водки, ни селедки, ни сала нельзя категорически, особенно первые месяцы. Желтушник на радостях выпил пузырь водки, зажевал это все большой копченой селедкой и слопал шмат сала величиной с ладонь – привезли его на «скорой» и без сознания вечером дня выписки. Помню, как поразила меня хининовая желтизна его кожи и абсолютная неподвижность. Еще вчера этот дядька травил анекдоты с мужиками на лестнице, громко матерился и хохотал, а сегодня... Ночью лихой любитель водки-селедки скончался.

ТУСЬКА И АЛЕША

Восемнадцатилетний брат Борис привел в дом совсем юную невесту, и осенью 1966 родился малыш. Назвали Толиком, хотя мудрые люди отговаривали от такого решения. Рождение внука стало для мамы спасением.

Поначалу, когда брат начал встречаться с Зиной, я была ею очарована, носила ей записки от брата и обратно. Худенькая, черноглазая, умненькая и начитанная для своих 16 лет девушка, как оказалось позднее, еще год назад одолела многотомные издания Бальзака, Мопассана, Золя. Не знаю зачем, я даже показывала ей свой первый роман «Наташа», у неё хватило сообразительности не посмеяться над «писательницей», казалось, мы должны были подружиться, ведь я смотрела на неё с явным обожанием.

Как только она расписалась с моим братом, после рождения Толика, вместе с Борисом начала меня «воспитывать». Сначала они подтрунивали над моей медлительностью, потом над тройками по математике в моем дневнике, позднее просто издевались над моей робостью и «тупостью», в глаза называли душой, причем раньше Борис никогда меня не обижал, а теперь на пару с Зиной изошрялся в остроумии.

Ответить на придирки достойно не могла, не умела. Плакала, но никто моих слез не видел: щадя мамино горе, старалась ничем ее не огорчать. Я не понимала, за что они со мной так, почему вместо помощи получала от них одни насмешки. Комплексы мои росли, но помочь, поговорить со мной по душам было некому: отец всё больше пил, заливал водкой горе, Борис опять занялся наркотиками. Мама недосыпала, стала совсем худенькой: маленький Толик не сходил у неё с рук, молодые оказались никакими родителями.

Ребенку не исполнилось и годика, а они уже надумали снимать квартиру, точнее, комнату в частном домике неподалеку, это не помогло укреплению семьи: Борис безобразничал, а Зина запила и загуляла. Брак Бориса и Зины не заладился, Толик – Туська, как звали малыша в семье, с этого момента жил с нами постоянно, а через пару лет молодые расстались окончательно.

Толика непутевая юная мамаша оставила маме, а Борис в это время торговал наркотиками, мотался по всему Союзу, словно холостой парень, и о сыне не думал вовсе. Я, как умела, помогала маме растить внука, хотя чаще всего она старалась не отпускать его от себя: брала на дачу, в магазин, всюду, где только было возможно.

Форма глаз, губ, носа у Туськи, как у Зины и ее родни, но странным образом больше всего Толик напоминал любимую им певицу Мирей Матье. Вскоре мой отец устроил ребенка в детский садик, который находился прямо в нашем дворе.

Что-то непонятное творится с моей душой и с памятью, как только пытаюсь рассказать о маленьком Толике. Комок в горле мешает говорить, странные провалы в сознании не дают построить самую простую фразу. Невозможно, чтобы было больно так много лет. Но что же тогда душит? Впрочем, не буду забегать вперед, если хватало сил жить, значит, однажды хватит духа рассказать об этом.

Мама с папой души не чаяли в Толике, страдание моих родителей не окончилось, но лепет и веселые проделки ребенка смягчали их тоску, временами отец пил меньше, стихали скандалы. Толика и Алешу дедушка мог фотографировать бесконечно, снимков тех лет осталось множество. Так и вижу спустя годы двери в кухню, вечно обклеенные сохнувшими снимками, отца, занятого проявкой фотографий, чаще всего в ванне, хохочущих ребятишек, маму, вернувшуюся с дачи с двумя полными садовой клубники ведрами. Крутится калейдоскоп жизни, меняются, перетекают один в другой цветные узоры судьбы, только позвякивают стеклышки.

С грудными малышами я не знала, что делать, но когда они подрастали, я любила с ними возиться. Со старшим племянником Алёшкой, когда приезжала к сестре на каникулы, играла в капитанов, в футбол во дворе школы, в которой Клара работала. Как-то сестра испекла домашние пряники и бухнула двойную норму соды, печенье уже стало подсыхать, никто его не ел, но тут я прикатила из города – и вмиг с ним расправилась, а Алешка и Клара, глядя на мою неразборчивость в еде, хохотали и потом частенько припоминали это знаменитое содовое печенье.

– И как ты его в рот-то взять могла?

– Да за милую душу!

Любовь к сладкому не имела границ. В памяти с равной долей яркости высвечивается болгарский компот ассорти, вкуснее которого ничего не пробовала, и наш поход по вспаханному полю. Идти на протезе по пашне трудно: то одна нога, то другая увязали в земле, но мы шли, прихватив одеяло и сумку с едой, весело продвигаясь вперед, пока не отыскивали поросший травой пяточек земли с большим кустом цветущего миндаля. Расположившись у куста, устроили пикник. К полудню солнце хорошенько нас поджарило – и мы поспешили домой, а чтобы Алёшка не канючил и я шагала пободрее, сестра запела, а мы подхватили:

На заборе чепуха
Кофточку вязала
И, увидев паука,
В обморок упала.

Клара всегда, в самых трудных ситуациях, умела пошутить над нытиками, растормошить, рассмешить.

Алешу с Толиком разделяло всего два года, оба непоседы, резвости у них хватало на семерых, то Алеша примется сырые яйца бить с милым возгласом: «Яичко – чок!» (так всю корзину перечокал), то Толик накрутится до ушей маминой помадой, то вместе что-нибудь учудят. Я охотно принимала участие в их играх, но чаще просто читала им книжки, если же мы начинали смеяться дружно, взрослые унимали нас с трудом.

БИБЛИОТЕКА НА БАЖОВА

Мама часто, особенно зимой, провожала меня в школу, при этом старалась меня развеселить. Хоть решила не тревожить маму, воспитывать себя сама, для чего завела дневник, но по моему лицу, когда я училась в шестом классе, легко прочитывались простодушные и наивные печали.

Одна соседка, увидев, как мы идем в школу и при этом хохочем, недолго думая, ляпнула маме:

– Удивляюсь я тебе, Лизавета, на твоём месте от горя бы зареветься, а ты хохочешь, как ни в чём не бывало...

– А ты моих слез не видела, горя моего не мерила, не тебе судить, у девчонки и так полжизни отнято, неужели я её радости лишу, ещё успеет, наплачется, – отвечала всегда острая и скорая на язык мама.

Всю жизнь мама много читала, причем не дамские сладенькие романы, книги самые разнообразные, а после смерти Толика она устроилась на работу в библиотеку на нашем прежнем квартале по улице Бажова.

– Библиотека стала для меня спасением, я пролистывала, а чаще прочитывала такие удивительные книги, что понемногу научилась справляться со своим горем. Потом, в библиотеку приходили люди с очень интересными судьбами, и не только за книгами, одиночество и беда часто ведут туда, где книги, тишина, и библиотекарь, как врач души, выслушает, подскажет, поможет. Это начальство профсоюзных библиотек бьется за количество читателей, за число мероприятий и книжных выставок, а на самом деле важно, чтобы библиотекарь сам был начитанным и помогал в выборе книг, а не сидел безмозглой и безмолвной куклой на книговыдаче, – говорила мне мама потом во время наших ночных посиделок.

Часто после уроков я заходила к маме на работу. Библиотека располагалась в угловом доме в конце старого квартала и, слава Богу, большая часть пути вела через сад, где еще несколько лет назад я бегала с утра до вечера. Весенний, но уже жаркий день, на киноленте памяти: я в душном шерстяном форменном уныло-коричневом платье с воротничком-стоечкой. Но только вошла в сад, овевало волной прохлады, рядом молоденький дубок с насквозь просвеченными солнцем листьями, до библиотеки всего ничего, но я успеваю напиться юной сияющей радостью. Дверь в библиотеку открыта со стороны сада, в таинственной полутьме ждет мама, и книги всюду: на столах, шкафах и полках, их так много, что, кажется, людям здесь места нет...

Порой до самого закрытия ходила я между полок и деревянных стеллажей. С тех пор полюбила тишину между рядами книг, наполненную, даже напряженную, объемную. Казалось, кроме воздуха в библиотеке витал некий голубовато-серебристый туман, который легко превращался, по велению воображения, в некие пластичные облики. По совету мамы я прочитала несколько необычных книг. Причем своего видения мама мудро не навязывала, но я пристрастилась к чтению, и многие из книг, прочитанных в юности, помогали мне в трудную минуту. «Сильвия», «Тайна реки злых духов», «Челакашу – птичка певчая», «Шерли» Ш. Бронте, «Лезвие бритвы» Ефремова, «Грозовой перевал» стали моими друзьями.

Оказалось, что кроме высокоидейной классики и соцреализма с его правдивыми кривдами, есть другая литература, порой бесхитростная и несколько наивная, порой таинственная и тревожащая, как «Женщина в белом», иногда сочетающая

в себе труднопроходимые дебри рассуждений о войне машин и описание восхитительно самобытного женского характера. Мне не хотелось стать похожей на Джейн Эйр, а вот более смелая Шерли, умная, острая, решительная, мне была по душе, хотя сама-то в ту пору казалась ее полной противоположностью. Книжки тревожили сердце, будоражили воображение, размышления о прочитанном припоминаются смутно, но я очень легко «превращалась» в героев любимых книг: вот, обманутая и уничтоженная, иду по стеклу, по стеблям срезанных роз в зимнем саду; а вот, словно птица, сижу и пою на дереве, а потом, смеясь, говорю с прекрасным юношей. Так что я не училась в юности книжной мудрости, но, подобно актрисе, «проживала» разные ситуации и впитывала в себя чужие судьбы.

Помню, как хотелось прийти в класс и рассказать что-нибудь из прочитанного, чтобы все рты открыли от удивления. Но не хватало на это смелости, – и все мечты разбивались в пух и прах. Всего-то и надо было, чтобы девочки и мальчики играли со мной, общались, как прежде. Но чуда не случилось.

Чтобы хоть как-то выделиться среди троечников, я однажды решила, что закончу седьмой класс по всем гуманитарным предметам на отлично. Учителя заметили мое старание и подбадривали в желании прыгнуть из круглой троечницы (по некоторым предметам) в отличницы. С точными науками от природы не очень дружила, но и на уроках математики и физики я отвечала теперь лучше, увереннее.

Не скажу, что многое изменилось, но по крайней мере успешные ученики теперь не смотрели презрительно, а назначали «закрывать амбразуру», вызваться отвечать, когда весь класс был не готов к уроку литературы или истории. Я даже гордилась этими «подвигами», хотя сама порой не брала в тот день учебник в руки, но святое дело пострадать за класс, если даже в итоге получаешь не очень симпатичный «крендель». Мама никогда меня не принуждала к усердным занятиям, а после операции и облучения вообще перестала на меня нажимать.

– Учись, как можешь, – говорила она.

Даже за двойки не ругала, не читала нотаций о пользе образования. Но никогда не отказывалась послушать, как я читаю заученные стихи или пересказываю наиболее трудный материал по любому предмету, порой высказывала свое мнение о том, насколько хорошо я подготовилась, – и это помогало.

ИГРА СВЕТА И ТЕНИ

Меня выбрали в классную редколлегия – оформлять стенгазеты, срисовывать я никогда не любила, но для газеты охотно рисовала Чапаева, Ленина, пионервожатых. Рисование преподавал пару лет чудаковатый Александр Авдеев. На его уроках все стояли на головах, а он часто отлучался из класса во время занятий, возвращался порой к концу урока и под хмельком. Маленький, сухонький, с жидкими засаленными волосами, вечно в валенках с отворотами, он и не пытался унять орущих учеников. Мы не бездельничали, рисовали натюрморты, делали наброски с живой натуры, учитель редко хвалил, но ставил в журнал пятерки и четверки, он учил, как правильно наносить штриховку, давал представление о законах перспективы.

Пару раз одобрил мои рисунки, и когда он пригласил в кружок по рисованию, я пошла. Не помню, сколько занятий посетила, но успела нарисовать только синюю картонную коробку. Игра света, цвета и тени меня увлекла – и впервые,

когда учитель помог взглядеться в цветные переходы теней, я с удовольствием изображала мертвый и на первый взгляд неинтересный предмет. Вскоре Авдеича уволили, наверно, из-за склонности к спиртному, и других законов живописи я так и не узнала.

По-прежнему продолжала рисовать прекрасных девиц в пышных старинных нарядах, но незаметно из этого увлечения выросло страстное взглядывание в лица, в глаза. В пачке пожелтевших листов ватмана есть немного кособокий и наивно неправильный рисунок, изображающий маму, но большая часть запечатленных лиц прилетела из моих снов, позже я иногда встречала похожих людей, но очень редко. Небывалое, невозможное и вполне реальные эпизоды жизни смешивались в моем сознании – и действительность, порой скучная и тусклая, преображалась: между вымыслом и правдой у меня не было границы, поэтому охотно верила в любые выдумки врушек-подружек по двору.

Одно время заглядывала в рот соседской девчонке, которая так увлекала меня своими рассказями, что я, как хвостик, ходила за ней повсюду, ловила каждое слово. Куклы в ее историях были ходячими, ростом с пятилетнего ребенка, и говорили, а мальчики, чуть не все на свете, по словам рассказчицы, не давали ей прохода, дарили маленькие подарки, назначали встречи и т. д.

И верно, думала я, как не восторгаться такой девочкой? Нос – небольшая картошка. Верхняя губа выгнута, как крылья чайки. Нижняя губа, яркая, чуть выпяченная, добавляла ее обычному круглому лицу некую капризность, характерность. Светло-зеленые кошачьи глаза смотрели хитро и несколько отстраненно. Зимой она повязывала шерстяной небольшой платок, концы которого лихо топорщились на ее подбородке с ямочкой.

Девочка болтала, а я смотрела на неё во все глаза и, развесив уши, слушала небывальщины. Продолжался спектакль одного актера недолго, врушке надоело – и она стала меня избегать. Заходила за ней, чтобы позвать погулять, но ее постоянно не оказывалось дома, сначала удивлялась совпадениям, скучала без ее болтовни, потом вдруг всё поняла, вернее, не всё, а главное: меня держат за навязчивую дурочку. Больше никогда не смотрела в сторону врушки-подружки, вскоре у меня появилось ощущение, что ее вообще нет в нашем дворе: пути наши не пересекались, а если случалось видеть, я проходила стороной, но душа больше не болела, покрасовалась девочка-болтушка и испарилась...

Я мучительно осознавала свою некрасивость, сердило меня в себе всё: и мягкий, податливый характер, и хромота, и некстати располневшее тело, и рано наметившаяся грудь, в четырнадцать я выглядела старше своих лет. Романы, к которым я пристрастилась, описывали фантастических красавиц, в воображении я проживала их судьбу, любовь, но когда подходила к зеркалу, опускалась с небес на землю: лицо круглое, щеки вечно красные от смущения, глаза узкие, восточные, лоб крупный, совсем не женственный, брови широкие, опущены, как у печального клоуна; нос из маленького, каким был совсем еще недавно, превратился в крупный пористый выступ, только губы, четко и плавно очерченные, не вызывали моей критики и негодования. К сожалению, я была похожа на отца, для мужчины он смотрелся неплохо, но классическая строгая красота мамы мне подошла бы больше. По крайней мере, об этом я тосковала в переходном возрасте.

Однажды, желая стать симпатичней, накрасила где-то раздобытой тушью ресницы. Но так неумело, что на улице – шел густой снег – тушь попала в глаза,

защищало веки, и я размазала всю «красоту» по лицу. Пришлось жить как есть, без косметических хитростей. Тоска о невозможной любви порой выплескивалась самым неожиданным образом: мне хотелось делать то, что запрещали, чему противились взрослые. Тетушка и бабушка никогда сами за столом не пели и мне говорили, что у меня нет слуха. Вот тут они и попали, я-то петь любила, знала все дворовые песни, народные, эстрадные. И на Восьмое марта, когда у них гостила, устроила концерт.

Когда спела одну песню, они навалились на меня:

– Нечего петь, если не умеешь, лучше помолчи...

– А вот и неправда, очень даже умею, – заявила я обиженно.

Пела я часа полтора и унялась только тогда, когда исполнила все знакомые песни. Поначалу они пытались остановить, но от этого я пела только громче. Пела не только из вредности, непонятная тоска грызла изнутри, вот и хотелось доказать, что могу и умею хоть что-то. Больше Женя и бабушка петь мне не мешали и, казалось, что им даже понравилось это «выступление». Потом мы пили чай, а чуть позже я и Женя пошли на стройплощадку в барачного типа клуб смотреть фильм «Собор Парижской Богоматери» с Элизабет Тейлор в главной роли. Вернулись, когда уже стемнело, зажглись фонари, легкий морозец пощипывал щеки.

Я шла не спеша, под впечатлением ярких и тревожных образов, и в недавно бунтовавшей душе, несмотря на печальное очарование фильма, сделалось ясно и даже отраднo. На день рождения Женя подарила мне шерстяную ткань морковного цвета и, когда мы вернулись из кино, бабушка подготовила к примерке модного покроя платье. Когда глянула в зеркало, увидела пухлую, но вполне симпатичную девочку-подростка, похожую на настоящую девушку.

На следующий день в школе на первом уроке у доски отвечал Сережа Лангваген, мальчик из новеньких, и я со второй парты хорошенько разглядела его серо-стальные необычайные глаза, умные, чуть насмешливые. Сердце подпрыгнуло и тут же упало, как на качелях, и взлетело вновь. Почти до выпускного класса этот мальчик мне казался удивительным, необыкновенным, я даже не могла его сравнить с героями любимых книг, они меркли перед его образом. Высокий, худющий, нескладный, узколицый, с большущим носом и узкими губами, он не напоминал принца, и если и походил на литературного персонажа, то скорее на Дон Кихота, но только внешне, формально. Маленькие события нашей дворовой жизни в одно лето нечаянно показали, что ни доброты, ни благородства, ни души в нем никогда не было. Да, умные глаза не солгали: математику и физику он знал, пожалуй, лучше всех в классе, но и самомнение у него выросло выше крыши, вот оттуда он и смотрел на людей.

Если прежде, от робости перед ним, я не могла рта открыть в его присутствии, и каждый раз сердце обмирало от одного его случайного взгляда, то теперь с удовольствием хохотала над его напыщенностью вместе с весельчаком нашего двора Колькой, который очень точно заметил: «Любовь прошла, завяли помидоры». Нравился мне мальчик Сережа несколько лет, до сих пор помню его глаза, то голубоватые, то стальные, упорные, нацеленные на нечто нереальное, запредельное.

Может быть, меня поражал не мальчик, а просто его способность видеть и понимать то, что мне неведомо, тревожила острая сосредоточенность и ясность мышления. Тайна чужого самосознания всегда щекочет наше воображение. В эпоху взросления я писала неумелые стихи о мальчике Сереже, но они затерялись

давно, воспоминание осталось некой приглушенной мелодией, холодновато-отстраненной, как «Печальный вальс» Сибелиуса, который вспоминается редко, но если нахлынет – щемит сердце.

ТЩЕСЛАВНАЯ РАДОСТЬ

Эссе с элементами автобиографии, попытка понять, откуда росли стихи, сказки, рассказы, вовлекает, как в некое преступление, в поток воспоминаний, где личное, потаенное и лишнее соседствует со знаковыми для судьбы и творчества мелочами и деталями, которые становятся особенными только теперь, на склоне лет. Пишу сейчас как по наитию, и, отрываясь от страниц, сомневаюсь в необходимости того или иного цвета, света, тени, но калейдоскоп крутится – и складывается новый узор, еще одно мгновение быстро исчезающей жизни, и возможны лишь два исхода: либо такой орнамент, как сложился, либо встряхиваем – и пропускаем.

Много мелочей и глупостей я запечатлела в своем детско-юношеском дневнике. Всерьез, лет в тринадцать, решила воспитывать себя сама, тем более что из книг знала, перед какими девушками преклоняется сильная половина человечества.

«Мне хочется стать лучше, умнее, чистоплотнее и изгнать из себя всю лень. Попробую завтра, наверно, уже в сотый раз приняться за свое перевоспитание. Не знаю, получится ли, но все же попробую. Даже обязана. Не сделаю, тогда что за человек я вообще?» (13.02.1966)

Красивой, загадочной, утонченной, дерзкой, смелой не уродилась, простоватость, неумение себя подать, преподнести, полное отсутствие кокетства делали мой и без того физически несколько громоздкий образ тяжеловесным и малоинтересным, эдакая женская вариация на тему Обломова. Мама оберегала всячески от перегрузок, она знала, что моя сонливость не на пустом месте: даже в старших классах давала знать о себе большая доза облучения, которую получила перед операцией. Часто после уроков я буквально валилась от слабости – и засыпала среди дня часа на 2-3, мама не ругала, но и не объясняла, почему со мной такое творится. Поэтому я всё больше злилась на себя и порой почти ненавидела, в дневнике ругала себя, писала планы дел на другой день, не справлялась и даже однажды, сидя перед зеркалом, залепила две хороших пощечины самой себе.

Смейтесь, смейтесь, но дневник неплохо меня воспитывал. Из полной рохли я понемногу превращалась в девушку, ясно осознающую главные и всякие другие побочные цели. Озадачивала себя и потихоньку, неотступно шла вперед. Исправила вскоре тройку по английскому. На весенних каникулах гостила у Клары, и мы, ради шутки, разговаривали на нелепой смеси русского с английским, шли через поле, и я говорила обо всем, что видела вокруг, стараясь употреблять иностранные слова, сестра с английским дружила больше, чем я, и, конечно, мои предложения получались более кособокими, но зато смешными. Мне очень нравилась эта игра, и самым главным итогом стало то, что тематические тексты по английскому в последней четверти я не заучивала наизусть, а смело импровизировала на заданную тему, ошибки, конечно, делала, но насколько интереснее было отвечать незазубренное, а понятное. Англичанка оценила перемену в моих ответах, и в дневнике появились желанные пятерки-четверки, а в конце года с удовольствием разглядывала четверку в табеле.

С этого момента у меня появилась эта тщеславная радость: намечать себе не очень-то заметный окружающим рекорд и, достигая, говорить себе: «Еще одна ступенька!»

Мама рассказывала о своей комсомольской юности, о том, как ездили по селам с агитбригадами, как ребята ставили спектакли. В «Цыганах» по Пушкину она играла роль Земфиры. И мне отчаянно хотелось быть артисткой (все девочки во дворе собирали фотографии известных артистов кино, у меня было три альбома с такими фотографиями), но я понимала, что с моими данными мне до этой профессии как до луны, поэтому в девятом классе для новогоднего вечера у школьной елки мы вместе с мамой смастерили из ярко-розовой атласной шторы костюм индийской принцессы. Мне он казался совершенством, но воображаю, какое впечатление производил на окружающих: толстушка, заматанная в атласный кусок ткани, с искусственными цветами в волосах (сама три вечера их делала), на руках браслеты и украшенные фольгой перстни... Чучело еще то получилось, наверно, но я-то внутри ощущала себя принцессой безоговорочно.

Очередной раз я надеялась на то, что кто-нибудь, ну хоть один человек, заметит преобразование. Но почему-то никто со мной даже не заговорил, а мои робкие попытки пошутить провалились, едва начавшись. Словом, этот вечер оказался одним из самых пустынных в моей жизни, тогда я думала: «Ну почему, почему я такая несчастная?» Боль и обида раздирали сердце, там я не плакала, но почти всю ночь проревела навзрыд. Утром решила, что никто из обидчиков не увидит моих слез, не дам я им такой радости: смеяться над моей слабостью. И что-то случилось с моим сердцем, в этот день оно заболело впервые. Желание доказывать и побеждать усилилось, и жесткое, ироничное, даже язвительное отношение ко всем и всему стало моим щитом, и, действительно, больше десяти лет никто не видел у меня ни слезинки.

Точнее говоря, я заразилась максимализмом в его самой крайней степени. Может быть, не стоило говорить об этом здесь и сейчас, но, к сожалению, уроки ожесточения даются и давались каждому в свой час и, конечно, искорежили не одну судьбу и не один характер. Ожесточение рождается беспомощностью, одиночеством, иногда его принимают за силу человека, но от этого изъян не становится звездой сияющей, а остается собой, огромным препятствием к счастливым моментам судьбы и самого человека и окружающих. Да, здоровая злость, и лучше на самого себя, никому не помешала, но речь не об этом.

Долго я не любила даже мельком заглядывать в зеркало, в обыкновенное – правдивое и ясное. До двадцати лет обходилась без дамских хитростей: ни прически, ни макияжа, ни умело подобранной одежды. Зато у кривого зеркала реальности провела несколько лет. Не скрою, научилась быстро различать подлость, несколькими острыми словами умела подчеркнуть наивность и особенно глупость собратьев по перу, именно ожесточение давало силы расставаться с обидчиками раз и навсегда и не возвращаться к тем, кто предал.

Даже первые признаки ожесточения делают душу более хрупкой и уязвимой, а комплексы буйно расцветают. После Нового года мы поехали с мамой в дом отдыха «Горняк» под Лениногорском. В ту пору все его здания, из потемневшего от времени дерева, были похожи на терема, – тесноватые, подслеповатые, но вкусно пахнущие пихтой и снегом. Казалось, деревянные стены глубоко вдыхают морозный январский воздух, а выдыхают по чуть-чуть, и поэтому внутри корпусов

всегда дышалось хорошо, как в лесу. Нас поселили в небольшом домике из нескольких комнат, одну из которых занимали мы с мамой. Мы жили в окружении темных пушистых пихт, в глубине леса, и ходили в столовую по узким тропинкам между высоких сугробов. Трость съезжала с горбатой тропинки и утыкалась в сугроб, и я частенько падала, но все равно с первого дня мне всё вокруг казалось чудесным: в соседней комнате жили мои сверстницы, по вечерам мы собирались попить чаю, попеть песни, посеCRETничать, днем девочки катались на лыжах, мы с мамой тоже не сучали.

При доме отдыха устроился подработать деревенский конюх и на настоящих снях катал нас от корпуса до деревни и обратно. Мы лихо, с песнями, неслись на снях вперед, а на повороте многие кубарем летели в сугроб. Воздуха было так много, что порой даже больно дышалось, но хорошо, легко! Ближе к вечеру, с неременной песней «Вода, вода, кругом вода», звучащей над территорией, отдыхающие тянулись в столовую, в этом же зале спустя пару часов устраивались танцы или показывали кино. Некоторые девушки лет 18-20 приходили на ужин в полной готовности, с высокими модными прическами – «халами», на сооружение которых тратили порой полдня, я смотрела на них во все глаза, и они мне казались неправдоподобно красивыми, в нарядных облегающих коротких платьях.

Для поездки в дом отдыха мама сшила мне модную юбку на лямках, я очень гордилась новым нарядом цвета фуксия. В сочетании с красной кофточкой в белый горошек это, наверно, выглядело нелепым, но на новогодний вечер я пришла еще краше, в новом школьном коричневом платье со стоечкой, с длинным рукавом, только красивая крупная брошь немного сглаживала этот форменный ужас. Может быть, наряд был все-таки сносным, об этом я подумала, когда во время игры в почту мне принесли записку от некоего юноши. Оживленная переписка закончилась нелепо. Когда юноша предложил встретиться у ёлки, все комплексы вылезли наружу, и я написала: «Нет. Я хожу на протезе». Добавила еще какую-то галиматью и утащила маму поскорее из танцевального зала, чтобы некий юноша не успел сориентироваться в моих маневрах.

Неловкое платье, нелепое неестественное поведение, длинные и узкие тропинки, острый молодой пихтовый воздух... Мы спешим с мамой в свой домик, а вслед нам над всей территорией «Горняка» и окрестностей разливается голос Эдуарда Хиля: «Как провозаают пароходы? Совсем не так как поезда, морские медленные воды не то, что рельсы в два ряда...» Сильный, как неосязаемая рука старшего брата, голос, странное биение сердца где-то у горла, и вся жизнь с ее неожиданными бедами и радостями впереди. Мгновение, вмещающее в себя так много, так разнообразно и странно подсвеченное памятью и воображением, вместе с высокими сугробами и крупными звездами остается на матрице времени: мы с мамой едва различимы издали, а всё, что рядом с нами, дышит, движется, источает пихтовый запах. Это не прошлое, это то, что остается на земле, когда наша душа находит новое пристанище неведомо где.

ПОПЫТКА ИСПОВЕДИ

Привычка исповедаться своему дневнику стала для моей мучительно взрослеющей души спасением, жаль только, что дневник был собеседником молчаливым. Одиночество, даже в юности, когда все сверстники так или иначе страдают от

своих несовершенств, когда внутри всё кипит и бурлит, – плохой советчик. Чтение книг, даже самых мудрых, рождало новые вопросы. По телевизору я любила смотреть турниры веселых и находчивых. Одной из ведущих программы стала учительница по литературе в старших классах – Нина Степановна Коняхина, женщина яркая, эффектная, пышные пшеничные волосы были уложены в модную высокую прическу, на округлом улыбочивом лице яркими аквамаринами сияли глаза, мягко очерченный нос и полноватые чувственные губы притягивали к себе взгляды мужчин. Женщины поглядывали на ее совершенство с явной завистью. Красота ее спорила с изяществом ума и энциклопедическими знаниями, понятно, что, только увидев ее на экране впервые, обомлела от восторга. Боже мой, как хотелось, чтобы Нина Степановна преподавала литературу в нашем классе! И понимала, как моя мечта недостижима... Вскоре Нина Степановна стала ходить в школу по одной тропинке со мной и, перегоняя меня, она всякий раз улыбалась тепло-тепло и говорила глубоким, как река и чистым, как родник, голосом:

– Здравствуй, Любушка!

И спешила дальше, а у меня на душе после каждой встречи распевали соловьи, и нудные уроки в ненавистной школе пролетали сами собой. Я только удивлялась, что она, взрослая, но здороваётся со мной первая, да еще называет так ласково, как звали меня только дома. Вот ей я бы доверила всё сокровенное. Так и случилось спустя пару лет, когда в девятом классе она вошла в дверь нашего класса и пропела своим бархатным голосом тему урока – я была сражена наповал, но об этом потом-потом...

Литературу в седьмом-восьмом классе преподавала величественная, крупная женщина с безразличным взглядом, ее прозвали Гусыней. Сначала в класс вкатывалась ее объемная грудь, затем вытянутая вперед, как у гусыни, шея. Полноватое лицо с брезгливым выражением на аккуратных, всегда подкрашенных губах, пышные светлые вьющиеся волосы, уложенные в прическу, венчавшуюся крупным, с дыньку колхозницу, пучком, очевидно, украшали ее, но умеренная усредненность ее облика, показное спокойствие, граничащее с полным равнодушием, не вызывали желания приблизиться к ней и задать хоть один вопрос. Уроки она давала добросовестно, но без малейшего увлечения говорила о классиках, об идейном содержании произведений. До сих пор произнесенная ею тягомотина мешает мне вдумываться, вчитываться в некоторые общеизвестные строки, уже тогда я поняла, как категорически нельзя рассказывать школьникам о ярких страницах родной литературы.

Я любила стихи Пушкина, Лермонтова, чувствовала музыкальную гармонию нерифмованного стихотворения Лермонтова «Чисто вечернее небо, ясны далекие звезды...», оно не было программным, но с какой-то восторженной чистотой сияло в моей душе, заучивать не пришлось, оно само запечатлелось навсегда, обозначив, может быть, начало моей поэтической судьбы. Об этом в ту пору не размышляла, но трогательное стихотворение еще очень юного Лермонтова отражало и мою личную тоску о высоком, неземном, мое молодое одиночество среди чужих и равнодушных.

Когда нам задали выучить отрывок из «Мцыри», я выбрала «Исповедь», поскольку страдания одинокого монаха мне были понятны и близки. Думаю, что неподдельные ноты боли звучали в моем чтении, когда отвечала у доски. Я словно пыталась докричаться до своих сверстников, до Гусыни, ну хоть до кого-нибудь!

Ни разу не ошиблась, не запнулась, но Гусыня поставила аккуратную четверку в дневник, а отличнице, отвечавшей следом за мной, даже не дослушав ее сбивчивое чтение, нарисовала пятерку. Было обидно за «Мцыри», за Михаила Юрьевича с его трагической судьбой, за всеобщую глухоту и несправедливость оценок. Когда я, возмущенная, спросила о причине такого неравенства, Гусыня слегка раздраженно ответила, что ей лучше знать, кто чего стоит.

Ближе к окну, к свету знаний, напротив учительского стола восседали девочки, которые стремились к золотым медалям, которых многие преподаватели тянули, порой совершенно незаслуженно, в царство жизненного успеха. Наш класс давно разделился на ряды девочек и отдельно мальчиков, даже существовала незримая граница, которую, словно по общему уговору, никто не пересекал. Пограничный ряд «слабо успевающих» девочек, менее напыщенный, но более разговорчивый и контактный и несколько подавленный клеймом вечной серости, так и не стал по-настоящему моим. Соблюдая безоговорочную дистанцию с отличницами, я уже не старалась им понравиться и неплохо находила общий язык со своими соседками по ряду. С некоторыми возвращалась вместе из школы: неподалеку жила Лида Вебер, молчаливая, замкнутая худышка в очках с сильными линзами, с ней мы разговаривали мало и о чем-то незначительном. Ее подружка Тома, такая же худенькая и незаметная, присоединялась к нам изредка, но походы в школу не становились от этого веселее: девочки, словно навек чем-то напуганные, как смирные пони цокали каблучками рядом со мной и помалкивали.

ЛИДА

Судьба Лиды, добродушной, старательной, но какой-то затюканной с детства, оказалась трагической и короткой. Встретились мы лет через пятнадцать после окончания школы, когда я работала в библиотеке профкома «Алтайэнерго». Лида заметно изменилась: из аккуратной школьницы превратилась в полную, несколько неопрятную женщину средних лет, её и прежде печальные глаза затаили боль и обиду, тяжкую, непроходящую. Разговорились: тишина библиотеки не раз способствовала откровенным признаниям, и она рассказала неожиданно о себе.

Поначалу ничто беды не предвещало. Она поступила в пединститут на био-фак, ее отец, преподаватель труда в нашей школе, ждал от неё только хороших результатов. Ей из-за слабого здоровья еще в средних классах каждая четверка давалась с большим трудом, но многим родителям просто недосуг разобраться, почему их чадо не очень блестяще учится. Зачем разбираться, если проще и легче надавить, посмеяться над плохой памятью? Проучилась она в институте года полтора, и если для меня это время было счастливым и отрадным, для Лиды наступила пора суровых перемен: учиться становилось всё труднее, метод школьного зазубривания в институте не годился порой совершенно.

Осенью, когда студентов отправили в колхоз на картошку, Лида познакомилась с парнем и влюбилась, влюбилась до отчаяния, до самозабвения, но ее простодушие и заурядность не очень-то привлекли юношу; к началу зимней сессии он уже и думать забыл о ней. Лида страдала молча, ненавистные учебники забросила вовсе и завалила сессию, это бы ничего, – хрустнула и раскололась ее душа. Она отвернулась к стенке и не поднималась целыми днями, а вскоре с диагнозом «депрессивный психоз» впервые попала в психиатрию.

Сначала она оказалась в странном помещении с грязными матрасами на полу, нестерпимо пахнущими мочой и хлоркой, где вповалку лежали обколотые психотропными препаратами мужчины и женщины. Когда она немного отошла от полубредового состояния, ее стали, насильно разжимая рот, кормить, предупредив, что церемониться не станут, а соседка по палате, вечно хохочущая, тощая как скелет, лохматая особь непонятного возраста, улыбнулась во весь беззубый рот и подмигнула.

Когда мы встретились с Лидой в библиотеке, у нее наступила ремиссия, она даже пробовала где-то подрабатывать машинисткой. Родители, послушав наставления врача, уговорили деревенского простецкого парня жениться на Лиде. Поначалу жили они неплохо, Лида даже немного приободрилась, порой робко улыбалась. Поселились они рядом с родителями Лиды. Судя по всему, всей жесткости проблемы муж долго не знал, потом стал догадываться. Когда после очередной неудачной беременности жена попала в состоянии тяжелой депрессии в лечебницу, он стал погуливать и попивать, а спустя еще некоторое время исчез совсем.

Родители ушли один за другим из жизни, с разницей едва ли в полгода. Видела Лиду последний раз, когда гуляла с маленьким сыном во дворе, а она сидела на краю детской песочницы, приглядывая за своим племянником, мама ее – женщина энергичная, боевая – еще была жива и здорова, ничто беды не предвещало. Брат с семьей собирался уезжать в Германию, все переживали по этому поводу. Маму Лида похоронила осенью, а весной скорострительно скончался отец, несколько месяцев я ничего о ней не слышала, знала только, что живет у брата и помогает возиться с детьми, а где-то в августе того же года меня ошеломило известие о ее смерти: ее хрупкая душа не выдержала двойного испытания.

Пронзительно жаль, что так рано оборвался ее жизненный путь, что помимо трагедии ей не удалось испытать ни радости материнства, ни солнечной страсти, ни греющей и спасающей благодати веры в Бога. Есть люди, которые только мелькнули на страницах рукописи жизни – и пропали навсегда, но каждая судьба наделена особым смыслом, и нет ненужных и случайных встреч, каждая оставляет нетленное сияние в толчее минут и десятилетий: помнится голос, особенный жест, взгляд.

С Лидой мы даже не приятельницы, так, случился за всю жизнь один-другой откровенный разговор в полутьме библиотеки и под солнышком в детской песочнице, но горечь и тоска недосказанности нескладной судьбы и по сей день берedit сердце. По сути, я ее почти не знала, души наши не перекликались, но ее сиротливый, особенно последние годы жизни, взгляд вопрошал: за что вы меня так не любите? Вопрос немой, обращенный ко всем и ни к кому, провисал в пустоте, но никто никогда не пытался скрасить печаль некрасивой, неприметной девушки с ранимой и больной душой...

Всегда думала, что люди, как сообщающиеся сосуды, соединены друг с другом множеством нитей – капилляров, и хотим того или нет, неотделимы друг от друга. Иногда даже в мимолетных знакомствах скрыт до времени их особый смысл. Можно перестать общаться с человеком и даже его забыть, но отдельные фразы, поступки, особенности облика и характера еще не раз звякнут в копилке памяти и, по неведомым законам переплетения судеб, выручат, а то и спасут от погибели вас самих или родного человека. Поэтому потеря просто знакомого человека сродни ранению. Пустое место болит долго, фантомная боль души неотступней телесной, знаю наверняка.

ВРЕМЯ ОТКРОВЕНИЙ

Осень шестьдесят седьмого случилась как-то вдруг: долго не желтела листва, было жарко в начале сентября, потом чуть не за ночь тополя переменялись – и стояли с макушки до пят все в легком мерцающем золоте. Врезалось навсегда: 13 сентября, я иду с мамой в школу вдоль нашего унылого забора, нежное тепло с легкими порывами ветра ласкает кожу, хочется идти и идти далеко-далеко легкое касание струи воздуха – и сверкающие красавцы-тополя почти беззвучно обнажаются. Только что дерево было полно листьев – и вот они под ногами, точнее, у корней дерева, и сквозь голые ветви – небо жарко-синее; и так один за другим до самой школы разделись все придорожные тополя. В этом покорном беззвучии сквозила особая, ясная мудрость увядания, и от этого становилось почему-то легко и весело, как от музыки Моцарта, в которой я ничего не смыслила, но часто слышала ее то у Лены Яценко, то у Риммы Щетининой, с которой я сблизилась тем летом.

Однажды я читала весь вечер книгу о Паганини, наверху в комнате Риммы звучала пластинка – скрипичный концерт Николо Паганини. В отличие от ученического, мучительного для ушей пиликанья на скрипке, музыка не мешала, а, скорее, помогала чтению. Хотя я и не знала, что за музыка звучит, но ее мощный стремительный поток подхватывал и уносил меня в другие времена, в незнакомую, странную жизнь, страшную и прекрасную одновременно, волны музыки обнимали, несли – и вдруг швыряли наземь. Когда отзвучала мелодия, я позволила Римме узнать, что же это было, – и от удивления чуть не упала: читать о композиторе под звуки его концерта! Это ли не чудо? Мы разговорились и с этого момента стали ходить друг к другу почти каждый день в гости.

Я всё еще иногда рисовала красавиц, превращала их в бумажных кукол, придумывала им одежду и судьбу. Любви настоящей хотелось отчаянно. Вполне взрослые романы, которые я читала в ту пору, будоражили воображение жаркими эротическими фантазиями, но сознание своего физического несовершенства резко опускало меня на землю.

Два события поздней осени изменили мое грустно-скептическое восприятие мира. Литературу преподавала теперь моя любимая учительница Нина Степановна, и я могла наконец отвести душеньку на ее уроках. Чехов, Тургенев, Толстой, Достоевский в ее преподнесении не утрачивали своей прелести. Напротив, многие тайны текста классиков открывались только благодаря её чуткому вдумчивому анализу. Мы списывали толстенные тетради, конспектируя ее уроки-лекции, выписывали море цитат из книг, без этой подготовки отвечать на уроках литературы было невозможно. А сочинения на любую тему стали для меня поводом побеседовать с учителем, пусть письменно, но откровенно.

Стоит ли говорить, что оценки «отлично» (по литературе) стали частыми гостями в моем дневнике. Настолько меня увлекали рассуждения и фантазии в сочинениях, что я писала как по наитию, не проверяя написанное, при этом запятые лихо вылетали из тетради, а вечная ошибка в слове «искусство» (два «с» во втором случае) никак не фиксировалась в моей дырявой голове. Но, получив за содержание пять, на двойку за грамотность я никак не реагировала. Только спустя год любимая учительница приучила меня перечитывать то, что пишешь, и я впервые получила четверку за грамотность в сочинении, – и целый день ходила

гордая и счастливая, и, конечно, радовалась, когда мое сочинение признавали лучшим и читали вслух всему классу.

На один из уроков по литературе пригласили местного поэта, седенького сушощавого мэтра в очках с сильными линзами, от чего казалось, что его взгляд не фокусируется на тебе, а плавает где-то далеко, за твоей спиной. Михаил Иванович Чистяков в ту пору работал в редакции «Рудного Алтая», возглавлял областное литературное объединение и руководил кружком «Костер» при дворце пионеров. На той давней встрече он рассказал о творческом кружке для юных дарований и пригласил любителей литературы на занятия «Костра». В следующее воскресенье я совершила первый набег во дворец пионеров. В девятом часу утра в выходной в городе было как-то странно: прохожих мало, одиннадцатый автобус вез двух полусонных пассажиров по чистым и гулким улицам. И шофера, и пассажиров удивляла необходимость тащиться куда-то в выходной, но было в этой полусонной пустынности нечто неповторимо особенное, почти праздничное и почти призрачное. Идешь сквозь морозный город, сквозь утро, которое только-только обозначилось, день с его шумом, гулом, разговорами, хрипами и скрипами еще впереди, он разгуляется только к обеду, а сейчас все не проявлено, не начато всерьез, и внутри – зыбкий холодок, ощущение нереальности этого часа. Через десять минут в одной из комнат дворца пионеров дети старших и средних классов, как зачарованные, будут слушать почти два часа рассказ Михаила Ивановича о Древней Греции. Ожидание скорой встречи с поэтом усиливает особость, почти волшебную силу необязательных, но интересных занятий.

ИСКРЫ КОСТРА

Поначалу я появлялась в «Костре» изредка, но понемногу перезнакомилась с ребятами. Однажды, после занятий в клубе, я шла рядом с Ларисой Гончаровой, нам было по пути. Она увлеченно рассказывала о том, как ездила в качестве вожатой зимой в дом отдыха, там они устроили для пионеров веселый турнир, придумали костюмы, ее ребята выходили на сцену, замотанные в простыни, как в тоги, на головах у них красовались венки из пихтовых веток, почему-то запомнилась эта деталь. В рассказе Ларисы реальные яркие эпизоды перемежались с любопытным вымыслом, а в целом описание переливалось всеми красками жизни, рассказчица от природы владела искусством устного повествования. Девочка, которая поначалу показалась обыкновенной, зацепила мое воображение, и впоследствии я часто с интересом слушала ее маленькие исповеди.

В дневнике остались следы, впечатления от занятий в клубе:

«Была в литклубе, и сотни новых впечатлений вселились в меня. Буду писать заметку, рисовать газету – и время пройдет незаметно» (14.12.1969).

«Неделя лопнула, как мыльный пузырь! Михаил Иванович уехал в командировку – и занятие сегодня было нудным: я читала стихи О. Берггольц, когда Виктор Веригин вслух читал какую-то статью, девчонки смеялись и бросались снежинками» (20.12.69).

«Всю неделю мечтаю лишь о литклубе и больше ни о чем...» (29.12.1969)

Клуб «Костер» стал одним из моих новых увлечений, мне нравилось, что приходят на занятия ребята самых разных возрастов, от пионеров до учащихся техникумов и училищ. Самая старшая из нас, Фаина Воздвиженская, девушка

серьезная, рослая, всегда держала спину как в балете или на светском рауте, улыбалась редко, немного высокомерно и только уголками губ. Было заметно, что ее отношение к Михаилу Ивановичу не просто уважительное, а восторженно-влюбленное, граничит со слепым обожанием, она была старостой клуба и не пропускала ни одного занятия, хотя на носу были выпускные экзамены в музыкальном училище. Экзамены она сдала с отличием, успев при этом поучаствовать в театрализованном спектакле-капустнике на тему троянской войны который организовали на Комсомольском острове. Одетые в хитоны из простыней и штор, костровцы с упоением друг перед другом читали монологи героев Гомера, неумело сколотые хитоны порой падали в порыве актерском к ногам и возлежащие там и сям персонажи покатывались со смеху. Роль Геры, конечно, досталась Фаине. Она у нас была самой степенной и величавой. Мне почему-то выпало две роли: Афины Паллады и Агамемнона, до сих пор помню строки из его гневного монолога:

«Пьяница грузный, по виду собака, олень по отваге,
ты никогда не дерзал в своем сердце вместе с народом идти
или спрятаться в тайной засаде: тебе это смертью казалось».

Смешно, но роль Гектора, в адрес которого я посылала гневную тираду, играла маленькая, похожая мальчишеской шупленькой фигурой на пажа Лариса Цыганкова. Менелая взялся исполнять Виктор Веригин. Было весело произносить монологи греческих героев и богов, ругань персонажей нас изрядно забавляла. Каждое занятие в «Костре» этой весной начиналось с репетиции словесных баталлий между героями Гомера. Тогда же запомнились строки Риммы Казаковой:

«Неправда, что Гомер был слеп,
а может, так оно и проще:
когда стихи уже как хлеб,
они теплей на ощупь».

Цитирую по памяти, спустя полвека, и могу допустить погрешность. Каждый раз отводилось время для современной поэзии, прямо на занятии мы записывали стихи современников и поэтов серебряного века в свои тетради и с большим удовольствием на следующий раз читали наизусть полюбившиеся строки, а иногда пели песни наших местных поэтов-песенников:

«Река, березы над рекой
И там среди берез,
Девчонка машет мне рукой,
Не вытирая слез»

Программа каждого занятия, насыщенная, разнообразная, включала в себя элементы литературной учебы, поэтому приходили на занятия с радостью, а расставались неохотно. Важно, особенно для меня, что мы убегали вглубь веков, порой очень далеко от ограниченного круга школьных программных произведений. Многие из ребят уже публиковали в газете «Рудный Алтай» свои заметки. В клубе мы учились писать, используя все газетные формы творчества, а некоторые, самые одаренные, сочиняли стихи. Помню стихотворение Светы Шуваловой:

«Шла по городу легче перышка
Вся надеждами окрыленная.
И с улыбкою, словно Золушка,
наряжала деревья сонные».

Столько лет прошло, а стихотворение это остается в памяти, потому что в нем – особое состояние нереальности, волнения, воздушности, которое рождалось всякий раз, когда мы спешили воскресным утром в «Костер». Со Светой Шуваловой мы встречались редко: она сдавала выпускные экзамены в музыкальном училище. Вскоре Света уехала в Зыряновск, и подружились мы спустя пару лет.

В кружок я ходила чаще всего с Ларисой Цыганковой, мы учились в одной школе, вместе вступали в комсомол, и хотя я постарше и чувствовала себя рядом с этой девочкой небольшого роста как грузовик возле легковушки, приписывала ей все существующие и придуманные достоинства. Необходимость кого-то идеализировать уживалась во мне в ту пору с ироничным, насмешливым и даже саркастическим взглядом на многих окружающих. Порой я недолюбливала, практически беспричинно, некоторых ребят и даже не скрывала этого.

Передо мной фото конца шестидесятых: кружковцы вокруг нашего мэтра Михаила Ивановича, стоим в три ряда, в среднем – я рядом с Цыганковой, ниже сидит Виктор Веригин. Мое круглое лицо полно насмешки и желания поставить над его головой рожки из пальцев, помню, я еле сдерживала в себе этот порыв. А всё потому, что он мне казался ехидным зазнайкой. Может быть, я ему отчасти завидовала? Мой сверстник, а уже публиковал стихи в областной газете и держался со всеми ребятами снисходительно, смотрел, как небожитель, сверху вниз.

Сашу Романова, романтичного цыганистого красавца, я воспринимала иначе. Познакомились мы в ту пору, когда в его стихах неустанно летели и плакали над землей журавли. Ни тени влюбленности не было в моем сердце, но я с интересом наблюдала за преображением его наивно-порывистого образа в почти хулиганский и шальной. Он работал над стихами всегда в той же традиционной, есенинской манере, что и Веригин. Со временем в стихах Саши все чаще проступало ожесточение по отношению к людям и событиям, а в стихах Веригина слышались иные интонации, более крепкие, корневые, родные, чему лучшее подтверждение последний сборник «Казачьи напевы».

Странно, но юноши из нашего литературного круга меня не интересовали вообще, да и поэтические возможности ребят не казались такими уж бесспорными, они шли проторенной колеей, а меня, к худу или к добру, тянуло к верлибрам, к экспериментам в области формы, к поэзии Вознесенского и Рождественского. Потихоньку я стала собирать свои стихи в толстую тетрадь и придумала этому сборнику пафосное название «Прыжок через пропасть». Стихи показала Ларисе Цыганковой, она уговорила отнести тетрадь Чистякову и вместе со мной выслушивала отповедь Михаила Ивановича.

– Это не стихи, тебе не стоит писать, – говорил он велеречиво, и дальше шли пояснения насчет неумелых рифм и прочих чисто технических навыков, при чем он совершенно не заметил, что удачные строки и яркие образы, взрыв эмоций несколько искупали несовершенство первых опытов в поэзии...

Я терпеливо слушала, но постепенно закипала и, когда он умолк, уверенно, раздельно, чуть не по слогам произнесла:

– Ваше мнение – не приговор. Я пишу не так, как все, и что бы вы не говорили и не думали, это стихи, и писать я буду непременно.

Мы шли с Ларисой по жаркой летней улице, она пыталась меня утешать, душа моя кипела и бурлила, и я твердила:

– Они еще увидят, докажу всем, что вижу мир необычно, что стихи мои не лепет влюбленной дурочки.

Но сердцу было больно от того, что поэт, которого я уважала, ничего интересного в исповедальной тетради не заметил.

В тетради было свежее весеннее дыхание:

По синим льдам и голубым снегам
Бежит апрель в распахнутой шубенке.

Это были отдельные строки, но для начала не так уж плохо, хотя стихи многим казались странными, впрочем, как я сама. Почти болезненно ощущала хрупкость, трепетность всего, что двигается, дышит, растет:

Кричит по-человечьи олениха,
вытягивая шею к зареву.
И хрупкий удивленный олененок
на пяточке земли рождается.

После разговора с Чистяковым внутренний стержень не сломался: не удивилась, что мои стихи не пришлись ему по душе, знала, что вижу мир по-своему, чувства захлестывают, и еще предстоит искать точную форму выражения этой огненной стихии. Писать я не бросила, но никому теперь свои вирши не показывала.

Строптивая девочка Лариса, которую я долго идеализировала, постепенно теряла свой волшебный ореол, пока он совсем не погас, но еще несколько лет после того как она переехала во Фрунзе я тосковала, ждала от нее писем:

Пахнет снег голубыми фиалками,
веет вешней прохладой в лицо.
Выметаю еловыми лапами
заметенное снегом крыльцо.

Задеваю за нити снежинок,
как за струны бывшего едва...
Белый домик, как белый конвертик
заплутавшего где-то письма.

Прежде, когда она жила в нашем городе, в небольшом белом домике по улице Тургенева, я приходила к ней в гости по сверкающим от снега, заметным узким улочкам. Тогда мне казалось, что впервые за много лет я нашла настоящую подругу, от этого как-то особенно хорошо и свежо было на душе.

Однажды, спустя пару лет после ее переезда во Фрунзе, зашла в гости к ее бабушке, принесла самодельное домашнее печенье и передала подарок приятельнице: книгу знаменитого педагога Сухомлинского, которого почитала Лариса, и плюшевого медвежонка, бабушка напоила меня чаем и долго рассказывала о свадьбе своей внучки, показывала фотографии. Я откровенно радовалась, что судьба Ларисы, судя по всему, хорошо сложилась.

Через месяц получила от Цыганковой дикое письмо, в котором она приказывала не терроризировать своими визитами ее бабушку и несла абсолютную чушь об интеллигентности. Столько злости, ярости, истерического гнева мне не приходилось наблюдать ни до, ни после этого случая. Подарки она, однако, не вернула, а хамство и грубость проявила в полную силу. Сказать, что я не ожидала подобного поворота событий, значит ничего не сказать, случился сердечный приступ, родители вызвали скорую. Хороший урок: не зная броду, не суйся в воду!

Бог миловал меня не встретить Ларису Ц. никогда, спустя годы я почти совсем забыла, что в юности дорожила дружбой с девушкой оригинальной, честлюбивой, с ясным, практичным умом, но жесткой, как наждак, душой. Письма и фотографии уничтожены, хотя теперь, спустя жизнь, интересно было бы взглянуть в ровные строки ее посланий, написанные крупным четким почерком, странно заостренным, угловатым, так пишут люди с завышенной самооценкой, не наделенные творческим воображением, взыскательные к себе и жестокие к окружающим. Не знаю, как сложилась судьба Ларисы, но из города она уезжала, перессорившись со многими.

Оглядываясь назад, анализируя ее судьбу и характер, многое понимаю и прощаю, отпускаю на волю Господа, а жестокость никогда и никого не сделала счастливее.

АЛЫЕ ПАРУСА

В семнадцать я бредила «Алыми парусами», и вскоре образовалось своего рода сообщество почитателей Грина. Конечно, опьянение полусказочным текстом соединило наши помыслы ненадолго, четверка участников: Лариса Ц., ее приятельница с Аблакетки, самая младшая, Таня Кондрашина четырнадцати лет и я, затейница этого клуба, оказались настолько разными, что даже на первую встречу, которую назначили зачем-то в аэропорту, пришла только Таня с букетом первых подснежников.

Вручила Тане свой акварельный рисунок, а остальные подарки остались невостребованными, мы отогрелись в здании аэропорта, читали друг другу стихи и отправились под внезапным майским снегопадом на остановку автобуса. Мучила досада на девчонок, побоявшихся непогоды, но всё равно на душе было свежо, весело и молодо. Ветер подныривал под полы плохо греющего пальто, я то и дело поправляла полосатый шарф на смешной высокой прическе, Таня ёжилась в куцей курточке.

После этой встречи она вообразила ореол над моей головой, стала идеализировать, но чем больше придумывала мой образ, тем труднее было с ней общаться. Встречались на занятиях клуба нечасто, но однажды прошли вместе полгорода, случилось это ранней весной, тепло наступило внезапно. Настало вербное воскресенье, и я решила идти домой пешком. Таня пошла меня проводить, хотя дом ее был совсем в другой стороне. Лужи разлились, как небольшие озера, и обходить их было почти невозможно. Трепет весны переполнял мое сердце, и я откровенничала, читала стихи, смеялась, словом, меня несло, а Таня шла рядом и смотрела во все глаза, как всегда чуть склонив голову, исподлобья. Таких дней в судьбе единицы, поэтому они помнятся в деталях: и звон трамваев, по-весеннему особенно громкий, и сверкающие зеркала огромных луж, и жаркое белое солнце,

и маленькие островки снега на тротуарах, а главное, щебет, чирикание, свист радостных воробьев и счастливых синиц. И под настроение я читала недавно сочиненные строки:

Уродилась гордой, так вот и живу...
 Но, пожалуйста, пришли мне букет черемухи,
 огромный, чтоб я задохнулась от радости.
 Приблизь на секунду улыбку к моим глазам...

Почти год я носила в себе особое состояние, когда влюбленность не имеет адресата и легко переносится на вымышленного героя («...иногда мне просто безумно хочется прижаться губами к чьим-то губам, верхней к его и только его, и я его создала... Зацвела черемуха. Весна, счастье... и мечты невольно рвутся на волю и хочется, чтобы эта мечта сбылась, хоть когда-нибудь... Как часто случается, когда я иду одна, придумываю себе попутчика, с которым так забалтываюсь, что не замечаю, как дохожу до дома. Вольному духу захотелось, и он уже шел рядом, и губы мои говорили безрассудные слова: "Ты говоришь, что все сделаешь для меня..., ну тогда наломай мне большой-большой букет черемухи". Мечты есть мечты, и он, "мой влюбленный", не замечая, что я шучу, перепрыгивает через забор, следом раздаётся жалобный хруст ветвей...» (17.05.1968. Дневник)

Черемуха в том году отцвела так же внезапно, как случилось таяние снега, в большой вазе на столе красовалась свежая темно-лиловая сирень, которую мама принесла с дачи. Я любовалась ее упругими кистями, вдыхала нежный аромат. Полистав репродукции Ван Гога, задремала. Среди ночи услышала странный шум за окном, в глаза мне бил свет фонарика. «Воры», – подумала я и села на кровати, выпалив фразу:

– Ну, и что дальше?!

– Любка, не бойся, это я, Таня!

В форточке торчала и вправду голова Таньки, внизу кто-то, оказалось, ее школьная подружка, старался помочь Тане не упасть в ночные кусты. Я продрала заспанные глаза и увидела, как она бросает в форточку огромный букет сирени.

– Это тебе вместо черемухи!

Не успела я опомниться от удивления, Танька исчезла, зашуршали велосипедные шины, – и все стихло.

Позже я узнала, что сирень они наломали ночью, и через весь город привезли на велосипедах душистую охапку к моему окну, благо, что я жила тогда на первом этаже.

Каждую весну Таня чем-нибудь удивляла меня. Однажды на асфальте напротив окон они вместе с той же подружкой изобразили шхуну с алыми парусами, и когда едва рассвело, по серому тусклому асфальту плыла нарисованная красным мелом большая парусная лодка. В другой раз в ручку входной двери продела букетик белых, похожих на колокольчики, цветов, которые, качнувшись, издали легкий шорох. Поклонниками в ту пору судьба не баловала, и я сразу разгадала, откуда взялись цветы. В клубе Таню считали юным дарованием, в четырнадцать она публиковалась в местной газете, странностей у неё с годами только прибывало: то пыталась убежать в монастырь, то ходила ночью по кладбищу, а позицию жизненную выразила в одном из ранних стихотворений:

«Я решила твердо:
буду чертом,
буду добрым чертом
на земле».

Программное стихотворение, и в большей мере реализованное. С годами общее увлечение поэзией, творчество нас сблизили, я привыкла к ее контрастам и странностям, но это случилось уже в середине семидесятых, когда Таня окончила Томский университет. А пока, на одной из майских открыток, она писала:

«В твои глаза смотрели я и ветер.
Ты ветру улыбнулась, а не мне...»

Стихи ее мне нравились, я верила в яркую судьбу Тани, но почему-то она оставалась немного чужой, впрочем, закон вечных несовпадений никто не отменял и, когда она, повзрослевшая, стала мне интереснее, понятнее, у неё появились другие кумиры. Впрочем, я даже радовалась, так как слыть объектом почитания никогда не стремилась и чужое обожание переносила с трудом.

РОВЕСНИКИ

Ребята из «Костра» не любили своих сверстников из телевизионного клуба «Ровесники», те тоже не давали им спуска, называли чистяковцами и т. п. Любила общаться и с теми, и с другими, причем познакомилась с участниками клубов почти одновременно.

В «Ровесники» впервые заявила, чтобы доказать, что ребята несправедливо обидели Ларису Цыганкову, для меня она казалась человеком непогрешимым, ее достоинства они тоже видели, но замечали и другое: упрямство и самолюбование вечной отличницы, неумение дослушивать собеседника и уважать чужое мнение. Мы говорили долго и, хотя я не собиралась этого делать (при всем огромном интересе к передаче), договорились продолжить нашу дискуссию в следующий раз. Ларису мои доводы о том, что ребята, может, отчасти правы, и ей лучше вернуться в этот клуб, ничуть не убедили, хотя ребята сожалели, что она так резко отмежевалась от них. Прежде я с интересом смотрела «Ровесников», мысленно спорила с ними, а теперь горячо говорила с ними наяву, и было совсем неважно, что в это время камера направлена на наши разгоряченные спором лица.

Петя Нагорный, часто произносивший банальные сентенции, никогда не горячившийся во время спора, производил, тем не менее, на юных зрительниц большое впечатление своей артистичной, в стиле разочарованного Печорина, элегической внешностью. Какое-то время даже я, ироничная и вьедливая, попала под его чары: стоило ему сделать мне комплимент перед выходом в эфир, менялось моментально настроение, появлялись не только умные, но и простые невесомые девичьи мысли, а поскольку в ту пору прятать эмоции я не умела, телезрители чаще видели мою улыбку.

Ума и зрения не была лишена и видела, что все юноши вьются вокруг одной девочки небольшого роста, кокетливой, уверенной в себе, не столько красивой, сколько манкой, она мне напоминала юркую остроносу птичку. Ольга Голых любила производить впечатление и, думается, ходила на ТВ себя показать. Неглупая, довольно начитанная, у меня она не вызывала интереса и даже желания

о чем-то говорить вне передачи, ее хитрые небольшие глазки смотрели как-то воровато, недружелюбно, спорить с ней было не о чем.

Признанным мудрецом передачи, человеком эрудированным, оригинальным, считался полноватый парень в очках. Я почему-то думала, что он непременно станет не меньше чем дипломатом или послом: спорить, вести за собой, делать немногословные, тонкие выводы лучше всех умел Дима Половяный.

Витя Сергиенко не обладал такими основательными знаниями, как Дима, но, когда я еще не была участницей передач, мысленно спорила именно с ним. Суждения его были неожиданными. Худощавый юноша, довольно высокий, он всегда как-то неловко устраивался в телевизионном кресле, но как только начинал говорить, внимание зрителей и оператора невольно сосредотачивалось на его узком, обычном на первый взгляд лице, но при всей его закрытости оно выдавало глубокую работу мысли. Светлые, большие, немного навывкат глаза смотрели при этом чаще всего не на собеседника, а куда-то в пространство или в себя, особенно когда мысль, предмет спора его увлекали. Он, пожалуй, казался зрителям, да и нам, спорщикам, самым интересным участником дискуссионного клуба.

Вела передачу Галина Петровна Ершова (Минаева) – молодая, умная, яркая журналистка, помимо этого она обладала особенной, запоминающейся внешностью, и когда я впервые пришла на телестудию, она была худенькой женщиной, которая могла позволить себе прическу с двумя задорными хвостиками, красную шелковую кофточку с воротником собачьи ушки, на которых красовались вышитые фиалки. Одевалась она всегда остро модно, а прическа выглядела идеально уложенной.

На ее продолговатом лице умно поблескивали карие, красиво подведенные, удлиненные глаза, изящно очерченные нос и губы придавали внешности флер интеллигентности, и лицо ее, хотя и не обладало классической правильностью, привлекало особостью, оригинальностью черт. Нынешнее телевидение чаще всего напоминает эдакую огневушку-посакушку, всё с наскока, всё экспромтом, но если учесть, что идут на современное ТВ далеко не гении, понятно, что несут такие передачи налет сиюминутности, избобилуют безграмотной речью.

Прежде даже юношеские передачи продумывались тщательно, писался сценарий, перед выходом в эфир проводился тракт (нечто вроде краткой репетиции). Заранее задавалась тема, и чаще всего вне эфира мы ее не обговаривали, Галина Петровна встречалась с каждым участником отдельно, подсказывала, в каких книгах можно найти убедительные аргументы для спора, выслушивала наши неожиданно возникающие идеи – и мы расставались на неделю, чтобы как следует обмозговать свою позицию, набросать на листочке цепочку доказательств. Чаще всего в поисках поддержки своим суждениям я обращалась к книге о комсомольцах – героях 1920-х годов. Зачем-то храню тетрадь, где среди прочих есть выписки и из этой книги. Сама я жила тогда страстно, жарко, и поэтому дела и мысли настоящих комсомольцев мне были родными.

«Для счастья, для самого личного счастья человека необходима горячая привязанность его к какому-то делу, к какой-то проблеме, к какой-то идее» (С. Чекмарев).

Многие утверждения юных комсомольцев были не менее наивны и порывисты, нежели мои, но читая станицы дневников давно погибших сверстников, их искренние, но порой неумелые жаркие стихи, я наполнялась убеждением, что только так и стоит жить: азартно, целеустремленно, весело.

«Скучно, когда в сердце нет жильцов; нет, не скучно, а страшно, когда там нет жильцов.

Страшно, что вся жизнь пройдет вот так, без горячего чувства...» (С. Чекмарев).

Горячее чувство, порыв, юношеская несдержанность и сумятица, лихорадка увлеченности несли меня к поэзии двадцатого века, порой фонтанирующей яркими эмоциями, – к поэзии трепетной, в которой образы и мастерство играли для меня не самую важную роль. Стихи передавали ритм, биение влюбленного сердца, причем не классическим, а живым, родным языком семидесятых.

Однажды он вышел на площадь
и закричал во все горло:
«Послушайте, люди, послушайте!
Люблю вас! Очень люблю!»
И, засмеявшись, подставил
лицо под смущенный дождик...

До сих пор чувствую трепет в душе, читая эти строки не очень известного, но любимого моим поколением поэта семидесятых А. Кондратьева. Увлечение поэзией было повальным среди «костровцев», «ровесников», среди моих институтских приятельниц, у каждой девушки курса были толстые тетради, в которые мы неустанно переписывали полюбившиеся строки, среди них, конечно, были стихи Е. Ширман, о ней я услышала на одной из передач.

Разве можно взерошенной мне остыть,
неумное тело бревном уложить,
когда все мои двадцать корявых лет,
как густые деревья, гудят: Жизнь!

Жить, изорваться ветрами в клочки,
жаркими листьями наземь осыпаться,
только бы чуют артерий толчки,
гнутья от боли, от ярости дыбиться!

Эти строки до сих пор прожигают меня насквозь. Память о странной, короткой и необычной судьбе Елены Ширман, поэтессы военного поколения, история ее любви к Валерию Марчихину так же ясно и светло отзывается в душе, словно я благодаря ее поэзии на какое-то время переносилась в тюремную камеру, где она писала трогательные и необычайно нежные «Последние стихи». Специально о литературе на передачах мы почти не говорили, но подобные книги освещали наши сердца, и всех нас, в большей или меньшей степени, озаряли их высокие идеалы и яркие чувства.

«Я сейчас как на крыльях лечу. Даже сердце холодит. Так и летел бы всю жизнь. Ветер поет, сердце поет, кровь летит, всё летит. Может, это и есть вдохновение?» (В. Кубанёв).

Мы были разными по характеру, по темпераменту, общим было желание понять, разобраться, найти выход из запутанных лабиринтов жизни, мы горячо спорили, иногда ненадолго обижались друг на друга, но почти на каждой пере-

даче у меня возникало радостное чувство поиска истины, а иногда случались маленькие открытия. Минаева умело сталкивала наши мнения, и мы в пылу спора забывали о том, что писали, готовясь к передаче. Вскоре я уже не обращала внимания на телекамеры, так увлекал меня разговор с товарищами. Хорошо, что в моей юности был такой удивительный телевизионный клуб и замечательная наставница Г. П. Минаева.

На ТВ часто приходили письма, как отзвук на очередной выпуск передачи «Ровесники», послания нам раздавали, и мы порой полемизировали со сверстниками в эфире, но иногда отвечали адресатам письменно. Так в мои руки попало интересное письмо от парня с первомайского ретранслятора. Такой волнующей, интересной переписки у меня не было до этого момента, не жаль посвятить отдельную главу особенным эпистолярным отношениям.

ПИСЬМА МЕЛКИМ ПОЧЕРКОМ

Мне нравилось вдумываться, вглядываться в лица разных людей, когда я общалась с ними через письма, лицо мне заменял почерк человека. В юности я особенно тянулась к людям с четким, убористым, мелким, экономным почерком. И сама в десятом классе писала конспекты по литературе исключительно мелко, правда, сочинения так писать не могла, воображение вырывалось на волю, почерк крупнел, разгонялся и летел, как норовистая лошадь, с решительным напором и наклоном, порой превращаясь в некое подобие кардиограммы, становился неразборчивым, небрежным, очень похожим на рецепты, написанные врачами. В ту пору я хорошо осознавала, что мне не хватает четкости мышления и дисциплины словотворчества. Когда мне на ТВ предложили ответить адресату, обратила внимание на его особенный почерк, четкий, наклонный, аккуратный, мельче бисера.

Первое письмо было попыткой найти эпистолярного друга, собеседника, поэтому я отвечала на все его вопросы, обращенные к «Ровесникам», искренне, порывисто, с тем же запалом, с которым спорила на передачах. Ответ получила вскоре.

«Второго числа получила от К. письмо, меня даже трясло от волнения, холодели пальцы. Прошло уже пять дней, а я все думаю над его письмом, ответ написала и запечатала, вышло 8 листов, но еще больше в голове...» (7.05.1970. Дневник)

Неожиданно (и не только для меня) письма стали поводом к откровенным рассуждениям и всколыхнули чувства с обеих сторон. Со мной все понятно: я жаждала взаимной сердечности давно, – и достаточно было крохотного проявления симпатии, чтобы душа запылала.

«Мне всегда было неудобно писать сентиментально (почему-то откровенность в чувствах считается слабостью), но сейчас я хотел бы сделать это и сделал бы, если бы мог, если бы умел. Но вы, думаю, понимаете, что чувствует человек, который ждал чего-то, и вдруг это исполнилось» (Май 1970. Письмо К.).

Я легко повелась на его лестные оценки моего мышления, на разговоры о любви и счастье в силу моей неопытности, но с самого первого письма я заметила у него чувство затаенной ненависти к определенным людям, которое прорывалось внезапно и порой без особых причин.

«...Равнодушие, нежелание и неумение мыслить, невежество и просто глупость, причем не как исключение, а в огромных масштабах, – вызывают у меня такую ненависть (или отчаяние), что иногда хочется взять в руки автомат и пройтись по улице, по квартирам, по всей планете... Ненавижу, когда собственный комплекс неполноценности выдают за основу бытия, ненавижу, когда сила и наглость считаются мерой человеческих ценностей, а интеллект высмеивается сюсюкающими подонками...» (Май 1970. Письмо К.)

Идти и стрелять всех подряд? Совсем близко к идеологии нынешних террористов. Я подчеркнула эти слова еще при первом прочтении, но не слишком придавала им значение, потому что меня увлекли последующие фразы, уверенные рассуждения о том, как следует и не стоит жить.

Стиль письма выдавал изрядные творческие способности автора и умелое владение словом, поток мелких строк и отвлеченных рассуждений будоражил меня необычайно. Дневниковые записи беспокойной весны 1970-го, жаркого лета, когда я сдавала вступительные экзамены в Педагогический институт, полны ожидания писем от К., в которого я заочно понемногу влюблялась. Хотя нет, это было увлечение, которое щекотало мне нервы, добавляло бессонных ночей, но, по сути, оказалось игрой бурного воображения, я просто старалась заменить отсутствие естественных для этого возраста встреч-расставаний, походов в кино, поцелуев при луне хоть намеком на взаимность. А в письмах несло не только меня по полям и горам, но и ответы К., особенно поначалу, напоминали своего рода признания.

«Хотел написать “здравствуй, Любушка!”, да не рискнул, а было бы хорошо, потому что мне хочется написать тебе письмо нежное и ласковое, целое письмо тебе и только о тебе. И без всякого сухого “разумного” анализа, чем я грешу... Я довольно долго (года полтора, наверное) упорно тренировался разбирать по косточкам свои чувства к людям, а сами чувства закрывать на семь замков. Так надежнее, а сейчас вижу, что с тобой, Люба, я могу говорить абсолютно обо всем. И еще я знаю, что именно так, именно это и нужно, ведь я же сам жду от тебя того же, открытия души...»

При всем при этом мой товарищ по переписке многое умалчивал, только намекал на некие неприятности, рассуждал о правдивости и открытости и вдруг обращался ко мне за помощью, толком не обозначив проблему.

«Мне грустно, неуютные чувства овладели мной – одиночества, заброшенности, разлуки. Тяну к тебе свои руки. Поддержи. Ободри. Вдохни в меня немного солнца. На душе у меня пустынно и холодно, как в старом осеннем парке... Ты слышишь, Люба! Ты это можешь. Твои письма, твое внимание, тепло строк, написанных тобой... Я видел по телевизору, у тебя мягкий и теплый взгляд, ты многое можешь».

Не так уж много у меня тогда получалось, но весь год прошел под знаком «Костра», «Ровесников» и ожидания писем К.

«Если бы знал К., что я о нём думаю и как думаю, то удивился бы и забыл, что существует такая девчонка. Я влюблена в его мысли и не только в них, я вижу его, чувствую постоянно присутствие. Должна благодарить судьбу, что она так милосердна, но я задыхаюсь без его писем, умираю от ожидания. Снятся письма без конца...» (8.08.1970. Дневник)

Письма приходили нечасто, мотивы задержек обрисовывались К. смутно, словно существовал он в двух параллельных жизнях, о реальной я практически ничего

не знала, мне доверялась только сумятица переживаний. Он довольно интересно анализировал мой характер и, как я теперь понимаю, кое-что К. невольно преувеличивал, теперь понятно, что я ему нравилась совершенно немотивированно, поскольку в восемнадцать лет характер девушки лишь пунктирно обозначен и многое, благодаря времени взрыва чувств, под вопросом.

Он с жесткостью рационального собеседника часто совершенно справедливо критиковал мое небрежное отношение к слову. Не думаю, что благодарила его за принципиальность, самолюбие убывало у меня медленно, с ростом мастерства, а в пору юности я болезненно реагировала на замечания, но ироничный взгляд на мои вирши К. помог позднее, когда я спустя годы перечитывала его письма. В этом же послании есть несколько стихотворений самого К., помнится тогда, в юности, они казались мне любопытными, но почти нарочито мрачными, умствующими, рассудительными, особого таланта я не заметила, хотя отдельные живые строки, далеко не совершенные, пришлись по душе:

«В снах серебряных, как колокольчик, нежно

будет сердце биться, радостью звонить...

Детство, счастье и любовь, как прежде,

будут по утрам тебя будить».

О неосторожном обращении со смыслом слов даже в этом отрывке могла бы говорить, но прежде, когда сама тем же грешила, я понимала, ощущала ту трепетную суть, о которой тосковал автор, а не вполне русские обороты речи меня не очень тревожили, восхождение к точности словоупотребления у меня было долгим. Впрочем, о своих стихах К. отзывался весьма скептически.

Что-то случилось с его отношением к нашей переписке после третьего письма. Я написала ему перед этим слишком откровенное послание – и рыцарский дух прежних писем испарился, почерк сделался небрежнее, волнение, увлечение разгадыванием тайны души человека потухло, и всё письмо он посвятил своим сомнениям, метаниям, своему раздражению. А на мои откровения ответ нулевой, словно их вовсе не было, правда, интерес в этом письме еще теплился.

«У тебя свой мир, он мне интересен: чего ты достигнешь этим способом, к чему придешь. Еще в большей степени ты сама, как человек, очень привлекательна. И я не буду бороться с этим чувством. Оно приносит мне радость, радость, которую не хочется анализировать, а это больше, чем я ожидал».

Волна моих чувств несла меня вперед, и я все больше увлекалась не реальным человеком, а придуманным, ловко не замечала истинного положения вещей, со всем нарастанным жаром прыгала в холодную, порой ледяную воду его рассуждений, пытаюсь теплом одеть, растормошить, оживить юношу со старческим ощущением жизни. А К. уже неловкость испытывал от избытка тепла, адресованного ему:

«Очень много тепла в твоём письме. Станным кажется, что всё это для меня. Видимо, это свойство твоего характера».

И несколько ниже:

«Что-то меня трогает, но, слабо скользнув по сердцу, затихает. На душе лед и ирония».

До меня всё еще не доходит, что мои письма помогают отвлечься, забыться, а то, что со мной в это время происходит, ему по сути безразлично, иначе откуда бы вынырнули в конце одного письма рассудочные, отстраненные слова. Так говорят с детьми, от шалостей которых утомились.

«Люба, Люба, ты, верно, обижена на меня? Я то появляюсь, то исчезаю. Что делать? Такова жизнь. Приходится подчиняться обстоятельствам».

Вот это да! Станция «Березань», кто приехал, вылезай! Тут бы и остановиться, но К. сначала в письме, а потом и при встрече, затеял зачем-то разговор о превращении будущих людей в киборгов. Он заранее понимал, что с моих позиций никакие совершенные, человекоподобные организмы не могут заменить человека, можно передать роботу некоторые функции мозга, но с душой всё гораздо сложнее.

Меня просто в ярость приводила позиция К. Это ж насколько надо ненавидеть живой и прекрасный мир вокруг, людей как таковых, чтобы искать им не помогающих роботов, а пытаться создавать искусственный аналог! Мне представлялась такая перспектива аморальной и абсурдной.

На этот посыл в письме я не успела ответить: К. внезапно приехал незадолго до Нового года. Звонок в дверь, – и передо мной невысокий незнакомец в шапке-ушанке, в куцем темном пальто, глаза, спрятанные за очками в тяжелой черной оправе, смотрят жестко, немного настороженно, напряженно, лицо самое обычное, на губах нет и тени улыбки, словно он не к девушке пришел, а на похороны.

В другое время я бы обрадовалась встрече, ведь так долго я ждала, что она однажды случится. Но, увы, радости не было вовсе, мы прошли в мою комнату, мудрая мама, видя мое замешательство, принесла яичницу, чтобы покормить гостя, это немного смягчило обстановку. Но я-то знала, что главная цель визита – разговор о киборгах, причем всех, не принимающих эту идею на ура, он уже в письме окрестил мещанами. Когда опустели тарелки и чай был выпит, К. со всей убежденностью ринулся доказывать, как похорошеет жизнь при киборгах, – логичная, последовательная, лишённая эмоций и души (за ненадобностью). Меня даже лихорадило от волнения, от негодования, от слепой, но жаркой веры в человека, искры летели еще те, искры возмущения его старательным холодным отрицанием права и блага чувствовать мир, людей всеми фибрами души. Он не видел смысла в эмоциях, я под конец разговора не видела ничего хорошего в развитии наших отношений. Он расчетливо ударил по моей восторженности и человеколюбию, я захотела, чтобы он ушел, и как можно скорее, и навсегда.

Он ушел вскоре, было уже темно, но я даже из вежливости не могла заставить себя пойти его проводить. Мне стало скучно и тоскливо от его техногенных теорий, от его менторского, поучающего тона, который он позволил себе в последнем письме на тринадцати страницах. Письмо, вязкое, тусклое, многословное, совсем не напоминало прежние увлеченные философские беседы; капли тепла, увлеченности и интереса испарились совершенно, но наш разговор задел его за живое, хотя К. утверждал обратное, чуть иронично, чуть цинично.

Но зачем еще что-то добавлять к яростному спору? На его выпады по поводу правильного воспитания отвечать не хотелось, письма оставила на память о необычной переписке, а конверты порвала все до единого, чтобы не возникло искушения хоть когда-то написать странному товарищу юности.

ЛИРА

Галина Петровна Минаева первая мне сказала: «Люба, ты талантлива и должна писать, поступай на журналистику или готовься в литинститут». Я уважала ее жесткий, часто скептически настроенный ум, ее умение превратить рядовую

передачу на областном ТВ в нечто особенное, что помогало нам подружиться, а главное, споры были необходимы нам как воздух, они формировали наши личности.

Совету не вняла, и после года метаний поступила в наш родной Пединститут на филфак. После зачисления летела домой как на крыльях.

В памяти высвечивается жаркий день, идет слепой дождь – и креповое платье в некрупный розовый цветочек делается моментально мокрым насквозь, от этого мне становится еще веселее, вот так шла бы и шла под теплым ласковым дождем. Я вступала в новую полосу жизни и чувствовала, знала, что она будет более наполненной, интересной, яркой. Так и случилось.

В институте я училась вместе с «ровесниками»: Витей Сергиенко, Петей Нагорным и Ольгой Голых, параллельно с ними поступили «костровцы»: Саша Романов и Виктор Веригин.

Всех нас объединил в студенческий творческий клуб «Лира» странный преподаватель по зарубежной литературе – А. Фирстов. Внешность у него была оригинальная, запоминающаяся: высокий, худой, в нелепо сидящем, мятом костюме, он размашистым шагом спешил на лекцию или на занятия клуба. В «Лире» он не руководил, не указывал, как нужно думать и писать, вставал где-нибудь в стороне, у окна, и оттуда поглядывал на нас небольшими светлыми, глубоко посаженными, но цепкими смеющимися глазами и улыбался, показывая неровные желтые, лошадиные зубы. Всё его лицо, удлиненное, изрезанное глубокими морщинами, с крупными, часто приоткрытыми губами напоминало добрую лошадку в ожидании кусочка сахара. Судя по всему, лакомством были для него отдельные удачные строки, но он почти никогда не вмешивался в наши импровизированные литературные обсуждения, никого особо не хвалил, но и ругать графоманов, которые время от времени забредали в наш клуб, даже не пытался. Видимо, и без него ребята справлялись с бездарностями легко.

Собирались каждую неделю после занятий, и наши разговоры гудели в пустых коридорах затемно, до самого закрытия института, когда уборщица шваброй разгоняла разгоряченных спорщиков.

Случайно между страниц своего дневника нашла черновик восторженного экспромта, очевидно, написанного на лекции перед занятием студенческого объединения:

«О, “Лира”, голос твой опять
раздался в стенах института!
Что будешь нынче воспевать,
Наполнишь чем бесед минуты?» –
Так размышлял студент обычный,
спеша на лекцию рысцой...

На «Лиру» приходили ребята с других факультетов, со старших курсов, из «старичков» запомнились два друга: Саша Агарков и Саша Крахин, оба сочиняли замечательные студенческие песни и вместе исполняли их под гитару. В песнях чувствовался юношеский задор, юмор, доходящий до сарказма, стихи писали искренние и мастеровитые, придирик к ним обычно не было. Сами они умели показывать другим недочеты, а с графоманами разговоров вообще не затевали.

но их красноречивое молчание намекало: обсуждать нечего, и графоманы на следующую встречу не приходили.

Иногда забегал старшекурсник – кудрявый красавец Вадим Гурин, читал свои мрачные рассказы и сверху вниз поглядывал на юных участниц наших встреч, которые млели под его взглядами. Наповал сражал всех девиц Саша Романов, который писал талантливые, немного похожие на лирику Е. Евтушенко стихи и был хорош собой, причем во внешности и в поведке то и дело проступала цыганская лихость, разбойная удаля. Он читал стихи, размахивая руками, подражая поэтам-эстрадникам. Часто приписывал себе строки знаменитых поэтов, а поскольку читал он великолепно, девицы млели и пачками падали к ногам. Вскоре Саша увлекся Ольгой Голых, которая была изрядно избалована вниманием парней. Однажды она заглянула на занятие объединения, и с космической скоростью завязался бурный роман.

Перед глазами картинка прошлого: поздним вечером весной мы идем вдоль речки Комендантки, на ее берегах еще не водились стада лягушек, проходим мимо здания индустриального техникума, нас много, поэзия бурлит в крови, мы наперебой читаем стихи. Саша накидывает свой пиджак на плечи Ольги, выбивается немного вперед и, сверкая черными глазами, широко размахивая руками, картинно декламирует. Звуча нет, но картинка движется, мы идем вперед, к проспекту Ленина, пахнет рекой, свежей зеленью, нам всем весело и хорошо, мы громко, молодо смеемся...

На занятия «Лиры» приходили порой очень яркие чудаковатые студенты. Запомнилась девушка с иностранного отделения, Маша Палкина, она переводила стихи Гарсиа Лорки. Ее работу хвалил знаменитый в ту пору переводчик испанского поэта. Даже на слух ее переводы казались очень интересными и, что самое сложное в случае с переводами этого трепетного поэта, они передавали сам воздух Испании, чувственные образы и жаркую музыку стихотворений.

Окружающий мир, краски, слова Маша воспринимала болезненно остро, в порыве откровения как-то призналась, что осенью садилась на поезд, никому ничего не говоря, и убегала из города, чтобы не видеть мучительного сочетания красок. Маша чудесно рисовала акварельные миниатюры, и несколько листочков долго хранились у меня среди бумаг. Рисовала она в манере любимых мной импрессионистов, буквально на клочках ватмана размером 15 на 8, но настроение, состояние природы передавала очень чутко: из почти бесформенных мазков и пятен краски вырастали полуфантастические образы, чувство тревоги рождали почти все ее миниатюры. Она была сутулой, маленькой, невзрачной и часто шутила: «На самом деле я очень красивая, просто на меня свет неудачно падает», – и смеялась при этом.

Дома родители оборудовали специальную комнату, где она занималась гимнастикой, и каждый день она трудилась над улучшением своей осанки. Когда я встретила ее спустя несколько лет, она похорошела, умело скрывала недостатки фигуры. Очень освежали ее уложенные в модную прическу, высветленные волосы, умные грустные карие глаза были красиво подведены, в ней было трудно узнать прежнюю, увлеченную поэзией Машу, о творчестве она теперь не говорила, похоже, что-то раз и навсегда сломалось в ее душе...

Еще одной интересной и видной фигурой нашего содружества стал Саша Драт, самый талантливый актер СТЭМа, от его дарования я до сих пор в восторге, ни

Нагорный, ни Крахин не годились ему в подметки, без его участия студенческие спектакли тускнели. Наделенный живым воображением, брызжащий юмором, он и собой был хорош, высокий, худощавый, стремительный, улыбчивый, как многие лировцы, писал стихи, рассказы.

ВИРТУАЛЬНЫЙ РОМАН

В пору моей юности знакомились не по Интернету, а по телефону. Странно, но случайный звонок незнакомца, как оказалось потом, сыграл роковую роль в моей судьбе. Во время летней сессии мы поговорили первый раз, после экзаменов я уехала вместе с сокурсницей и ее парнем в студенческий спортивно-оздоровительный лагерь на озеро Шибандыкуль. Жили мы в двухместной палатке втроем.

Вижу как сейчас: выбираюсь в темноте на корточках из палатки, чтобы посмотреть на луну, о чем договорилась со своим новым телефонным знакомым заранее, вернее, это он предложил в один и тот же час, в одну и ту же ночь посмотреть на луну и одновременно подумать друг о друге. Честно выполняя свою часть соглашения, хотя луна пряталась в ту ночь за тучами, пялилась я на суровое ночное небо и вспоминала о телефонном герое, а сокурсница и ее парень, держась за животы, хохотали над моим романтическим выходом из палатки. Пошел дождь – и виртуальное свидание завершилось, тем более что на другой день в шесть утра начиналось мое дежурство по кухне.

Прежде мама не очень-то нагружала меня домашними делами, да и я не рвалась в бой на кухню. Тут впервые надо было пластаться почти без передышки весь день, снисхождения я не терпела и впряглась в работу наравне со всеми: мы перемыли гору посуды, искрошили несколько мешков капусты, начистили ведер десять картошки, кроме этого, накрывали на столы и убирали.

К ужину я уже едва держалась на ногах, точнее, на протезе, помню важный, не только для этого дня, момент, когда мне нужно было подняться на холмик невысокий, чтобы попасть в туалет, иду и чувствую, еще шаг – упаду и усну на месте, но шаг за шагом иду, упорствую. И вдруг, на вершине холма, полный восторг – добралась! И я уже как новенькая, открылось второе дыхание, – и с холма чуть не летела, и после ужина не спать завалилась, а пошла на костер. Долго мы сидели с ребятами и пели под звездным небом.

Опыт этой крохотной победы мне пригодился в жизни много раз, но момент первого реального преодоления ни с чем не сравним. К слову сказать, мои друзья по палатке, Галка и Генка, которые дежурили на кухне на следующий день, вернулись оттуда едва живыми – и в шесть вечера уже дрыхли.

Дней десять мы отдыхали на озере, каждую ночь я поглядывала на звездное небо, мечтала о телефонном незнакомце, мне казалось, что и он часто думает обо мне.

Галка с Генкой в солнечные дни, взяв с собой одеяло, уходили вдвоем за соседнюю горку позагорать, иногда прихватывали и меня с собой. Плавать я не умела и лишь однажды осмелилась забраться в воду у берега, где мне было по пояс. Галка и Генка были рядом: то плавали, то подшучивали над моей водобоязнью.

К нам подошел незнакомый рыбак и предложил полведра ухи из только что наловленных линьков. После подгорелых бигусов и горчащих пшеничных каш уха

показалась поистине царской, как сейчас вижу: мы азартно хлебаем уху из за-копченного ведра, а сами сидим в воде у бережка. Вкусна была уха, и сама жизнь манила как аппетитная наваристая юшка.

Полнота бытия опьяняла, и каждый день, каждый эпизод запоминался в мельчайших деталях. Дождь шел почти целыми днями, но мы не унывали, играли в карты с заданиями, дурачились вволю, а по вечерам рассказывали друг другу истории. Иногда я подолгу смотрела на звезды, которые низко нависали над озером, небо казалось порой угольно черным, и почему-то становилось страшно и одиноко, хотя вся поездка на озеро была подсвечена моей влюбленностью в телефонного героя... Воображаемое порой сильнее реального. А уж буйству моего воображения в ту пору можно было удивляться.

Когда мы вернулись в город, телефонный роман раскрутился с новой силой, не роман, конечно, а азартное взаимное увлечение вольными разговорами на самые важные для юных темы. А. П. печалился, что девушка, с которой он дружил, его совершенно не понимает. Иногда он начинал подтрунивать над моими репликами, но чаще всего любил сочинять экспромтом рассказы о том, что могло бы приключиться с нами в каком-нибудь другом столетии, я охотно подхватывала его словесную игру и от себя добавляла воображаемые детали, и мы дружно хохотали над тем спектаклем, который сочиняли.

– Вот я бегу с охоты, на мне мохнатая шкура, в одной руке дубинка, а в другой хобот мамонта, – смеялся С. П. – Хозяйка, разводи костер, кормилец пришел!

Дама каменного века выглядывает из пещеры в коротком леопардовом мини и кокетливо заявляет:

– Я бы развела, да кремень уперли. Это всё сосед, разберись, дорогой!

И хозяин, бросив у пещеры хобот мамонта, бежит с дубинкой отбирать у соседа кремень.

Веселая болтовня оживляла наши беседы, но без стихов, которых я знала в ту пору множество, конечно, не обходилось, порой вслед за стихотворением следовало выразительное молчание, вздохи. Впервые по поведению телефонного знакомого я заметила, как действует на юношу мой голос, он действительно звучал иначе, чем всегда, появились какие-то ручьистые ноты, странные, чувственные модуляции, и, как бы я ни старалась скрыть свое волнение, вибрирующие интонации выдавали.

Телефонный знакомый то появлялся, то пропадал, а я, глупенькая идеалистка, мечтала только о нем и мучительно ждала каждого звонка, хотя его номер телефона почему-то никогда не спрашивала, из какого-то суеверия. Когда А. П. исчезал с горизонта, душа моя металась и скулила, как брошенный щенок. В дневнике появилась запись:

«Сначала было трудно не слышать его голос, от которого меня пронизывала дрожь от головы до пят. Теперь многое стерто, забыто, только к вечеру вспомнила, что сегодня четыре месяца со дня первого звонка. Дальше считать не надо. Всё отлично, он понял, наверно, как для меня всё это серьезно – и перестал звонить. Давно я имела право оборвать сама, но не получилось.

Ты мешаешь мне быть спокойной,

Обжигает издали.

Не любовью зовется, болью

Неожиданная тоска» (28.10.1971. Дневник).

В воображении я проживала наши виртуальные отношения бурно, жарко и вскоре убедилась, что не достаёт только встречи, чтобы случилось чудо взаимного увлечения.

Незадолго до Нового года *«Саша позвонил... Я вдруг словно очнулась... Идиотская улыбка появилась на лице, сначала очухаться не могла от радости, потом всё было чуть спокойнее, но все же тепло (мы должны были вскоре увидеться). Конечно, не видя человека, нельзя в него влюбиться, но большая струна была задета»* (Дневник. 30.12.1971).

Наверно, для меня было бы лучше и легче, если бы..., но случилась очередная жестокая нелепость. Моя институтская приятельница, которая была в курсе моего виртуального романа, неожиданно в разговоре со своим школьным товарищем поняла, что это он и есть – мой телефонный знакомый. Когда он заявил, что, кажется, нашел девушку, которая его понимает, выложила ему все как есть, назвала мою фамилию, а он припомнил, что учился когда-то в одной школе со мной и видел, как я, хромя, шла вдоль зеленого забора домой.

Приятельница, недолго думая, поспешила сообщить мне об этом. Мир перевернулся с ног на голову: я поняла, что он больше не позвонит никогда. Приятельница, конечно, молодец. Главную боль причинили трусость и отсутствие ума у самого телефонного знакомого. Подумаешь, у девушки с красивым голосом что-то не так с ножкой, это не повод от нее отворачиваться, мог бы и увидеться или хотя бы позвонить, да всё что угодно, только не молчать, словно от того, что у меня физический недостаток, я не достойна даже обычного человеческого тепла и внимания. Глупая боль всерьез калечила мою душу.

Ненавижу звонки твои, слышишь,
и – молчание, словно провал!
Но к окошку намокшие листья
прилипают, как трубка к губам.

Ситуация меня не столько обижала, не столько ударяла по чувствам, она оскорбляла мое человеческое достоинство. Минул горький Новый год, следом печальное двадцатилетие, впервые в день рождения на фото у меня слезы в глазах.

Поздно вечером я стояла у нашего подъезда, сердцу было больно, словно его рвали на части, и колотила по подтаявшему серому снегу каблуком сапога, – яростно, сердито, – и твердила сдавленным шёпотом: «Как я ненавижу всех мужчин! Они только разбивают мечты. Я им теперь покажу!» Так я решила теплым февральским вечером.

Наяву я тебя не помню,
а, верней всего, не хочу,
только имя твое родное
до сих пор по ночам кричу.

Просыпаюсь от звона веток:
снова утро, вставать пора.
Леденящий огонь рассвета
рвется в форточку со двора.

МУЗЫКА ДЕРЕВЬЕВ

Так или иначе, но эта виртуальная история разбудила живую боль, и я писала уже не о придуманных ситуациях, небывалых людях и невозможных чувствах. Реальный мир ломился в мои двери без стука.

Город – маленький мир, в котором
есть два полюса: я и ты.
Я на той половине города,
где от ветра гудят мосты.

Гудящие мосты до сих пор на месте, в студенческом городке мостик напротив нынешнего гуманитарного университета часто гудел от ветра, и мне вьюжными вечерами казалось, что мостик, по которому я шла к остановке, вот-вот сорвется и улетит вместе со мной.

Восторг, вдохновение часто подхватывали меня внезапно:

Может, только к утру
допишу, добегу,
окольцую рассвет руками!
А пока на ветру,
на осеннем пиру
без вина упиваюсь стихами.

Слава Богу, наконец музыка деревьев волновала меня больше, чем рассуждения о смысле жизни, цветность проникла в стихи, как солнце в полотна импрессионистов, рифмы стали более звучными.

Напилась листва за лето солнца,
оттого и стала золотой.
Льется желтый свет в мое оконце
этой ночью светло-голубой.

Боль и печаль засели во мне, но лишь изредка вырывались, даже в стихах, наружу. Тот странный год был до краев наполнен особой ясностью. Страницы дневника исписаны, по большей части, четким крупным почерком, и то и дело возникают вполне художественные описания, подробности ночей и дней проявляются как на фотографии.

«Душно, скучный учебник в руках. Распахиваю форточку: за окном что-то пушистое, голубое, пахнет снегом. Выхожу на волю. Всё бело: дома, деревья и небо белое. Снег похрустывает под ногами, свежий, накрахмаленный. Светло, будто белая ночь, и она действительно белая, всё светло, всё в сказку просится: снег на фоне освещенных окон летит, кружит.

И всё так легко, так ласково, будто зима уверить хочет, что не старуха она вовсе, а чистая, светлая девица. Хорошо дышится. Между мохнатых ветвей, почти рядом, целуется парочка. Кружится, кружится снежная карусель!»
(04.12.1971. Дневник).

Если вчитаться в страницы дневника, вовсе не главная тема телефонное знакомство, скорее, она, как изредка возникающая реприза, как светлячок в море травы. Отзвучала реприза, исчез светлячок, но остался отголосок, и длится всю жизнь память о едва заметном сиянии среди цветов и трав.

Еженедельно я проводила занятия литературного кружка в 20-й школе, с каждой новой встречей восьмиклассники становились мне интереснее и ближе.

«Занятие состоялось, хотя из-за дождя пришло всего пять человек из одного класса, но занимались долго, и я почувствовала удовлетворение. Опрос получился неплохим, всё же кое-что они усвоили. Радостно, когда есть результат. Стихи Ширман, Андерсен, – всё это произвело на них впечатление, главное, появился в их глазах огонечек... Возможность рассказывать для меня большая радость» (18.11.1971. Дневник).

Мысли о кружковцах, подготовка к занятиям помогали мне становиться собраннее, целеустремленнее, мы проводили вместе классные часы, ходили в театр, в кино, вместе с ребятами я посмотрела великолепный фильм «Эль Греко» и заболела образами узколиких мрачноватых испанцев. Мне нравились приглушенные мерцающие полотна, дивные удлинённые пропорции бесплотных мадонн этого потрясающего художника, даже Гойя, которого я трепетно любила, не волновал меня так сильно. Почему-то именно тогда, в 19 лет, знойный и пахнущий лимонами воздух Испании бередило воображение, тайна, скрытая за мазками картин, за строками поэзии, яркой, чувственной, почти осязаемой кончиками пальцев, эта тайна завораживала меня. Каким-то особым чутьем наделяли меня переводные строки, душа трепетала так, словно я читала Гарсиа Лорку в подлиннике: есть в море мировой лирики созвучные нам, родные по восприятию летящей жизни поэты, и всё, что они создают, странным образом мы не только понимаем, чувствуем, – принимаем навсегда в свое сердце с любовью.

«Ветер за окном. Завывает, стонет, ухает. “Восточный ветер, фонарь и дождь”. Это строки Гарсиа Лорки. Кому-то я сказала, что сейчас это самый близкий для меня человек. Еду в автобусе, и, застывая окружающее, в глазах стебли лилий. “В песчинках и поцелуях ушла она на рассвете, и гневные стебли лилий клинками рубили ветер”. Нет, даже не состояние восторга и опьянения вызывают они во мне, а просто глубина поэзии волнующе держит строки у самого сердца. Книга о его жизни давно прочитана. Я вижу, как фантазия и жизнь едины. От того и ясно все кругом...» (26.10.1971. Дневник)

В моем архиве сохранилось несколько рисунков – иллюстраций к произведениям поэта (Люла, Колокола Кордовы, Пресьосса), которые я рисовала с упоением, и до сих пор они меня переносят, несмотря на наивное исполнение, в звучный, разноцветный мир его поэзии. Сами стихи, пронизанные вибрирующими созвучиями, наполненные то народной, то симфонической музыкой, то рокотом моря или посвистом ветра, казались сродни живописи постимпрессионистов, которые в цветовую музыку полотен добавляли психологический подтекст, кроме того, повсюду прорисовывались тончайшие нитяные абрисы рисунков поэта, и эта воздушная графика ощущалась в каждой его строке. Облик поэта, его судьба, короткая, необычная, словно списанная со страниц его книг, как бы предсказанная Гарсиа Лоркой, совершенно зачаровывали меня.

Еще со школьных лет, со времен «Костра», я запомнила множество стихотворений Лорки, читала их при случае в литобъединении «Лира», в кругу «Ровесни-

ков». Когда наступил период легкомысленных свиданий, чтобы сгладить скуку и скрасить молчание не блещущих эрудицией лирических знакомцев, я принималась за колдовское поэтическое действо. Начинала, конечно, с любимых строк Гарсиа Лорки и, если в глазах собеседника не замечала интереса к его стихам, быстренько ретировалась и покидала воздыхателя, а умелым слушателям я могла читать стихи часами. В день, когда выменяла у книголюбов вишневый с золотым тиснением двухтомник Гарсиа Лорки, я была счастлива, что и отметила в своем дневнике. Ей-богу, отношения с юношами занимали меня гораздо меньше, чем литература и ее творцы.

Впрочем, изобразительное искусство и музыку любила с не меньшей страстью, задолго до первых походов в музеи искусств и в консерваторию стихийно внезапно замирала перед книгами о Врубеле или листая альбом репродукций Ван Гога, не понимая многих основ живописи, с большим азартом приняла полотна импрессионистов и, следом, неожиданно проникла в некоторые тайны японской гравюры от Хокусая до Мокато Уэно.

Перескакивая через многие ступени познания искусства, с удивлением обнаружила, прочитав книгу академика Алпатова, что мне внятен язык древнерусской иконы. При всем своем воинствующем атеизме так полюбила иконопись, что оказавшись в Третьяковке, не бежала по всем залам с группой, а все три часа, отведенные на экскурсию, провела подле икон Феофана Грека и Андрея Рублева. Особенно поразил Спас в Силах, описать свой восторг было еще не время, но Спас полюбился и часто всплывал потом перед глазами, пока не возник в микропоэме «Спас Андрея Рублева».

Сквозь века пройдет не угасая
Святорусский крутолобый лик.
Русский дух несуетно спасает:
Он жалеть обиженных привык.

Спас взывает взглядом непреклонным:
– Обращаясь к Господу, спасай
Край земли, от озими зеленый,
Господом согретый, милый край.

Еще меня теплом одела Ярославская Панагия, большая икона, почти в человеческий рост. Спокойная, достойная красота Богородицы, понесшей от Духа Святого, тронула мое сердце. Облаченная в накидку карминного тона, молодая и прекрасная Богоматерь смотрела ясными глазами, полными терпения и веры, и, когда душа моя приблизилась к порогу духовного мира, она первая пришла в мои стихи.

ПАНАГИЯ

Любовь, скиталица простая,
ступает так, что проступает
мучительный недужный пот,
внутри нее дитя растет.

Безмерной радости свеченье
ждет золотого пробужденья:
любви сверкающая суть
настойчиво стучится в грудь.

Дитя, как в шапке-невидимке,
в телесной прячется корзинке.
Спокойно женщина несет
живот, в котором свет живет.

Как отдыхающая птица,
дитя в душе любви гнездится,
таит божественный секрет –
необоримый щедрый свет.

Разбив в пути стопы нагие,
идет по свету Панагия.

Когда группа, измученная избытком впечатлений, с выпученными глазами после штурма храма искусств вернулась к выходу, мое сердце переполняла радость спокойного вдумчивого взглядывания в произведения, которые в этот момент жизни мне казались самыми особенными и даже наконец-то немного понятными.

Ходить по музеям стадами и чуть ли не на бегу поглядывать на прекрасные полотна, которых не счесть, – труд напрасный, утомительный, в зародыше убивающий живое эмоциональное восприятие живописи. Чем проникновеннее, медленнее, детальнее раскрывается произведение искусства, тем основательнее, прочнее западает оно в душу. Путь логичного и торопливого осмысления оставляет чаще всего лишь смутное впечатление. Все виды искусства связаны тонкой серебряной нитью, в этом их драгоценное свойство, – как по наитью озарять трепетные души, в которых возникают новые образы, новое осмысление вечных тем.

В этот странный год впервые жила в полную силу, с любовью принимая в душу друзей, которых наконец немного научилась понимать и слышать, ко мне приходили «ровесники», «костровцы», приятельницы по институту. Литературный клуб для восьмиклассников, телевидение, институтская «Ли́ра», факультетская газета, постоянное чтение, частые походы в театр не оставляли мне времени для пустяшных мыслей, для черной тоски, хотя увлечение лицедейством непонятным образом порой превращалось в театр одного актера.

Продолжение следует.

